



САМСОН ГЕЛХВИДЗЕ

СИМФОНИЯ БЕССМЕРТНОЙ ЛЮБВИ - (роман)

18+

САМСОН ГЕЛХВИДЗЕ
СИМФОНИЯ БЕССМЕРТНОЙ
ЛЮБВИ - (роман)

«Автор»

2026

ГЕЛХВИДЗЕ С.

СИМФОНИЯ БЕССМЕРТНОЙ ЛЮБВИ - (роман) /
С. ГЕЛХВИДЗЕ — «Автор», 2026

Любовь, музыка и тайна, переживающая века. За именем великого композитора скрывается не только история гения, но и судьба человека, которому пришлось бороться с одиночеством, страданием и безмолвием. «Симфония бессмертной любви» — исторический роман о цене творчества, силе чувства и загадке любви, способной пережить время. На фоне Европы эпохи Бетховена музыка становится голосом души, а личная драма — вопросом, на который каждый читатель ищет собственный ответ: что делает любовь бессмертной — память, жертва или сама музыка? Роман соединяет историческую судьбу композитора с художественным осмыслением его внутреннего мира. Там, где документы оставляют вопросы без ответа, начинается пространство литературного воображения.

© ГЕЛХВИДЗЕ С., 2026

© Автор, 2026

САМСОН ГЕЛХВИДЗЕ

СИМФОНИЯ БЕССМЕРТНОЙ ЛЮБВИ - (роман)

СИМФОНИЯ БЕССМЕРТНОЙ ЛЮБВИ

Исторический роман в пяти книгах

Роман о гении, который слышал музыку вечности, и о женщине, чьё имя могло навсегда остаться тайной.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ. РОЖДЕНИЕ ГРОМА

Глава первая. Дом, в котором родилась музыка

Глава вторая. Отец и сын

Глава третья. Мальчик, который не хотел быть вторым Моцартом

Глава четвёртая. Последний свет материнского окна

Глава пятая. Город великих ожиданий

Глава шестая. Среди тех, кто привык повелевать

Глава седьмая. Первое признание

Глава восьмая. Незнакомка в толпе

Глава девятая. Музыка против правил

Глава десятая. Предчувствие тишины

КНИГА ВТОРАЯ. МИР, КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАВАЛ ЗВУЧАТЬ

Глава одиннадцатая. Письмо, которого никто не должен был прочитать

Глава двенадцатая. Женщина за закрытой дверью

Глава тринадцатая. Когда звук становится болью

Глава четырнадцатая. Улыбка на светском вечере

Глава пятнадцатая. «Эроика»

Глава шестнадцатая. Человек, который избегал друзей

Глава семнадцатая. Хайлигенштадтская исповедь

Глава восемнадцатая. Любовь без права на счастье

Глава девятнадцатая. Чужие голоса

Глава двадцатая. Симфония непокорённого сердца

КНИГА ТРЕТЬЯ. БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

Глава двадцать первая. Теплиц, июль

Глава двадцать вторая. Два дня, изменившие вечность

Глава двадцать третья. Моё ангельское всё

Глава двадцать четвёртая. Имя, оставшееся за кадром

Глава двадцать пятая. Антони и Жозефина

Глава двадцать шестая. Женщина между долгом и желанием

Глава двадцать седьмая. Встреча, которой могло не быть

Глава 28. Последняя возможность

Глава 29. Цена невозможного счастья

Глава 30. Письмо в ящике стола

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ. ЧЕЛОВЕК ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТИШИНЫ

Глава 31. Вена без прежних иллюзий

Глава 32. Разговоры на бумаге

Глава 33. Племянник

Глава 34. Право называться отцом

Глава 35. Любовь, похожая на приказ

Глава 36. Дверь, захлопнувшаяся изнутри

Глава 37. Ночь перед девятой

Глава 38. Ода радости

Глава 39. Аплодисменты, которых он не слышал

Глава 40. Чужая радость и собственная пустота

КНИГА ПЯТАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ СИМФОНИЯ

Глава 41. Последний аккорд

Глава 42. Квартеты для вечности

Глава 43. Десятая симфония: музыка несбывшегося будущего

Глава 44. Исповедь перед вечностью

Глава 45. Человек, которому не хватало времени

Глава 46. Последняя зима

Глава 47. Друзья у постели маэстро

Глава 48. Когда приближается вечность

Глава 49. Последний день Людвиг ван Бетховена

Глава 50. Наследие, которое не умолкает

Эпилог. После последнего аккорда

КНИГА ПЕРВАЯ. РОЖДЕНИЕ ГРОМА

Глава первая. Дом, в котором родилась музыка

Бонн, декабрь 1770 года.

Зима пришла в Бонн без особой торжественности. Над Рейном висело низкое серое небо, с крыш стекала талая вода, а узкие улицы старого города то погружались в туман, то ненадолго прояснялись, открывая взгляду фасады домов, вывески лавок и тёмные окна, за которыми люди переживали свои маленькие радости и большие несчастья. Вечерами в домах зажигали свечи, у каминов собирались семьи, и над черепичными крышами медленно поднимался дым. Город жил привычной жизнью курфюрстской резиденции, не подозревая, что среди его жителей растёт человек, которому предстоит изменить представление человечества о музыке.

В одном из домов на Боннгассе, в комнатах, где не было ни богатства, ни особенного уюта, жила семья придворного музыканта Иоганна ван Бетховена. Его жена Мария Магдалена, урождённая Кеверих, ждала ребёнка. Для молодой женщины это ожидание было связано не столько с мечтами о будущем, сколько с повседневными заботами, которые не оставляли времени для праздных размышлений. Семейный достаток зависел от службы мужа, от его заработка и от того, насколько благосклонно складывались обстоятельства. В доме, где музыка была профессией, она не всегда приносила спокойствие.

Иоганн служил тенором в придворной капелле. Музыка сопровождала его каждый день, но для него она была прежде всего ремеслом, требовавшим дисциплины и повиновения установленным правилам. Он знал цену хорошему голосу, понимал, как трудно удержаться на службе, и видел, что одних способностей человеку недостаточно. Нужны были труд, терпение и умение подчиняться тем, кто распоряжался чужими судьбами.

Его отец, Людвиг ван Бетховен, занимал более заметное положение в музыкальной жизни Бонна. Старший Людвиг был придворным капельмейстером, человеком опытным и уважаемым, чьё имя знали среди местных музыкантов. Именно он представлял ту сторону семейного наследия, которая могла передаваться от поколения к поколению: знание музыки, привычку к труду, понимание её языка и строгую требовательность к мастерству.

Но наследство не всегда передаётся без потерь. Иногда вместе с даром человек получает и тяжесть чужих ожиданий.

В декабре родился мальчик, которого назвали Людвигом. Точная дата его рождения документально не установлена; известно, что 17 декабря 1770 года ребёнка крестили в Бонне. По

принятой историками версии, он появился на свет накануне, в семейном доме на Боннгассе. Тогда никто не мог знать, что имя этого ребёнка станет одним из самых узнаваемых в истории мировой культуры.

Для родителей он был прежде всего сыном. Маленьким человеком, которому предстояло пройти тот же путь, что и другим детям: научиться говорить, ходить, узнавать лица близких, различать ласку и строгость, радоваться свету и пугаться темноты. Вокруг его колыбели не звучали пророчества. Никто не мог услышать в его плаче будущую Пятую симфонию или угадать в движении маленьких пальцев музыку, которая однажды наполнит концертные залы Европы.

Величие редко приходит в мир с объявлением о своём появлении. Чаше оно начинается незаметно, в обстоятельствах, которые современникам кажутся обыкновенными.

Дом на Боннгассе не был дворцом. Его комнаты не отличались просторностью, а семейная жизнь не могла позволить себе роскошь беззаботности. За стенами находился город, в котором судьба человека во многом определялась происхождением, положением семьи и возможностью получить образование. Музыканты занимали особое место в этой жизни: они были необходимы при дворе, на торжествах и в церкви, но их искусство зависело от тех, кто мог за него заплатить.

Музыка входила в дом Бетховенов не как редкое чудо, а как повседневный труд. Она жила в расписании службы, в репетициях, в нотах, в разговорах о голосах и инструментах. Она могла быть источником заработка и поводом для гордости, но могла становиться и причиной усталости, если требовала слишком многого от человека, которому приходилось думать не только об искусстве, но и о хлебе насущном.

Мария Магдалена была женщиной, которой предстояло заботиться о детях и удерживать домашний мир среди обстоятельств, не всегда благоприятных. Ей были знакомы потери. Ещё до рождения Людвига она пережила смерть ребёнка, а впереди её ожидали новые испытания. В семье появлялись дети, и не всем было суждено вырасти. Такие события редко становились предметом долгих разговоров с посторонними. Их принимали как тяжёлую часть жизни, хотя сердце матери не могло привыкнуть к тому, что маленькая рука, ещё вчера державшаяся за её палец, однажды переставала отвечать на прикосновение.

Людвиг рос в мире, где радость не была гарантирована, а любовь нередко выражалась не словами, а заботой, работой и готовностью переносить трудности. Возможно, именно эта суровая обыденность позднее помогла ему понять, насколько непрочное человеческое счастье. Но пока он был слишком мал, чтобы осмыслить происходящее. Мир раскрывался перед ним постепенно — через голос матери, шаги отца, звуки улицы, свет из окна и незнакомые предметы, которые можно было трогать маленькими руками.

О его самых ранних впечатлениях мы знаем немного. История сохранила даты, имена, документы и позднейшие воспоминания, но не способна восстановить каждую минуту детства. Никто не записал, какой звук впервые заставил младенца замолчать и прислушаться, как он реагировал на пение отца или на скрип двери, открывавшейся в комнату. Всё это осталось за пределами свидетельств.

И всё же можно представить дом, в котором звуки были неотделимы от самой жизни. За окном могли проехать колёса экипажа, на улице раздавались голоса торговцев, в соседнем помещении кто-то двигал мебель, а в доме музыканта звучал голос, разучивавшего партию для очередного придворного выступления. Для взрослого всё это было привычным шумом. Для ребёнка мир ещё не разделялся на важное и неважное. Каждый звук становился частью огромного неизвестного пространства, в котором ему предстояло научиться жить.

Однажды этот ребёнок начнёт слышать в обыкновенных звуках то, чего другие не замечают. Он научится превращать тревогу в напряжённый музыкальный ритм, нежность — в мелодию, а внутренний протест — в силу, способную поднять целый оркестр. Но прежде ему

придётся пройти школу семьи, усвоить правила своего времени и узнать, насколько суровым может быть человек, от которого ждёшь защиты.

Пока же в небольшом доме на Боннгассе продолжалась обычная жизнь. Отец возвращался со службы, мать занималась домашними делами, дети росли, а за окнами сменялись дни. В соседних домах жили другие семьи, в городе работали другие музыканты, и никто не мог предсказать, чьё имя переживёт столетия, а чья жизнь растворится в безымянном течении времени.

В те годы Бонн был для Людвига всем миром. Его улицы, церкви, дома и берега Рейна ещё не были воспоминаниями — они составляли настоящее, единственное и неизменное. Он не знал Вены, не представлял себе больших концертных залов, не думал о славе и не мог вообразить, что однажды будет бороться с тишиной, которая станет для него страшнее любого одиночества.

Он ещё не знал, что человеческая судьба способна отнять у человека самое необходимое и всё же не уничтожить его внутреннюю свободу.

Он ещё не знал, что музыка, которая пока окружала его лишь как часть семейной жизни, однажды станет его языком, его убежищем и его способом разговаривать с миром.

А пока над Бонном стояло зимнее небо, в окнах домов мерцали свечи, и в небольшом жилище на Боннгассе начиналась жизнь мальчика, которому предстояло стать Людвигом ван Бетховеном.

История ещё не произнесла его имени громко. Но время уже сделало первый шаг навстречу человеку, чья музыка переживёт его самого.

Глава вторая. Отец и сын

В доме Бетховенов существовали часы, по которым измерялось не только время, но и терпение.

Они начинались с утреннего света, пробивавшегося сквозь оконные стёкла, продолжались торопливыми шагами по лестнице, запахом остывшего очага и привычными звуками домашней жизни. Но стоило Иоганну ван Бетховену переступить порог комнаты, где находился клавикорд, как течение дня менялось. Казалось, даже воздух становился плотнее, а вещи, ещё минуту назад казавшиеся безразличными, приобретали какое-то настороженное выражение. Инструмент переставал быть просто предметом мебели. Он превращался в место, где решалось, кем станет мальчик и сколько ему придётся заплатить за собственный дар.

Людвиг ещё не умел объяснить, почему присутствие отца иногда вызывало в нём желание немедленно сесть за инструмент, а иногда заставляло мечтать о том, чтобы дверь открылась и впустила кого-нибудь другого. В детстве чувства редко нуждаются в названиях. Они существуют прежде слов, прячутся в движении плеч, в задержанном дыхании, в том, как ребёнок отводит глаза, когда взрослый смотрит на него слишком пристально.

Отец хотел, чтобы сын стал музыкантом. В этом желании не было ничего удивительного: музыка была семейным достоянием, ремеслом, которым жили поколения Бетховенов, и единственным наследством, которое Иоганн мог передать мальчику, не опасаясь, что оно исчезнет вместе с деньгами или переменой обстоятельств. Он знал, что талант без труда способен пропасть бесследно. Он видел, как легко человек привыкает к похвале и как быстро публика забывает тех, кто не сумел удержать её внимания. Ему казалось, что суровость спасает от будущих разочарований.

Он не понимал одного: ребёнок может научиться повиноваться прежде, чем научиться доверять.

В те годы Людвиг был ещё слишком мал, чтобы постичь разницу между отцовской тревогой и отцовским гневом. Для него всё определялось непосредственным опытом. Если после нескольких удачных попыток Иоганн смягчался, мальчик чувствовал, что мир снова стано-

вится просторным. Если же ошибка вызывала раздражение, пространство вокруг сужалось до клавиш, нотного листа и тяжёлого ожидания, когда ему наконец разрешат встать.

Иногда ему казалось, что музыка принадлежит не ему, а отцу. Будто мелодии существовали задолго до его рождения, а его собственная задача состояла лишь в том, чтобы как можно точнее воспроизводить то, что уже было придумано другими. Но в глубине детского сознания постепенно возникало другое чувство — едва различимое, почти неуловимое. Когда пальцы случайно находили сочетание звуков, которое нравилось ему самому, когда знакомая мелодия вдруг приобретала иной оттенок, Людвиг испытывал радость, не похожую на радость от похвалы. Эта радость не требовала свидетелей. Она не зависела от того, одобрит ли отец результат. Она возникала внутри него, словно там открывалась маленькая дверь в пространство, куда никто другой не имел права входить без приглашения.

Возможно, именно тогда, среди упражнений, исправлений и повторений, начал формироваться один из главных внутренних конфликтов будущего композитора: необходимость овладеть строгим ремеслом и стремление освободиться от власти чужой воли.

Иоганн не был человеком, который мог позволить себе долго размышлять о тонких движениях детской души. Он жил в мире, где положение семьи требовало постоянных усилий, где служба зависела от расположения начальства, а профессиональная неудача могла лишить человека средств к существованию. В его представлении воспитание было подготовкой к действительности, а действительность не обещала никому снисхождения. Он хотел, чтобы сын научился выдерживать нагрузку, преодолевать слабость и не отступать перед трудностью.

Однако родительская любовь, лишённая понимания, порой начинает говорить языком, который ребёнок воспринимает как угрозу.

В доме не было принято обсуждать воспитание как отвлечённую науку. Взрослые делали то, что считали необходимым, а дети учились жить внутри установленных правил. Иоганн мог быть уверен, что действует ради будущего Людвиг, и всё же его требовательность оставляла в мальчишке не только полезные навыки, но и тревогу, от которой невозможно избавиться одним удачным выступлением.

Бывало, что после долгого занятия Людвиг отходил от инструмента и прислушивался к тишине. Она не казалась ему пустой. В ней оставалось что-то от прозвучавшей мелодии, будто звуки не исчезали окончательно, а продолжали жить за пределами слуха. Мальчик ещё не знал, что однажды это ощущение приобретёт для него особое значение. Пока же оно было всего лишь способом отдохнуть от чужих ожиданий и ненадолго вернуться к самому себе.

Возможно, в такие минуты он вспоминал мать.

Мария Магдалена не могла отменить отцовских требований и не всегда имела возможность вмешаться. Но её присутствие было иным. В материнском голосе не требовалось угадывать оценку каждого поступка; рядом с ней не всякая ошибка превращалась в испытание. Она не могла защитить сына от всех трудностей, зато сама её близость напоминала ему, что человек имеет право быть слабым, не переставая от этого быть любимым.

Детская память не хранит семейную жизнь в виде аккуратных исторических глав. Она удерживает отдельные ощущения: свет на стене, прохладу пола, запах одежды, знакомый голос за дверью. И иногда спустя годы именно эти мелочи оказываются прочнее событий, которые взрослые считали важными.

Людвиг рос среди звуков, но постепенно начинал понимать, что не каждый звук приносит радость. Одни звуки могли объединять людей, другие — разделять их. Одни открывали пространство свободы, другие напоминали о власти. Музыка, которая впоследствии станет для него величайшим способом говорить с человечеством, в детстве была связана и с близостью, и с принуждением.

В этом заключалось противоречие, которое невозможно разрешить одним воспоминанием о добром или жестоком отце. Иоганн передавал сыну знания, без которых тот не смог

бы стать профессиональным музыкантом. Он приучал его к упражнениям, знакомил с музыкальной дисциплиной, требовал внимания к исполнению. Но та же требовательность могла превращать обучение в борьбу, в которой ребёнок старался не столько понять музыку, сколько избежать очередного недовольства.

И всё же Людвиг не утратил способности удивляться.

Когда он оставался наедине с клавишами, мир порой преображался. Несколько звуков могли вызвать в нём смутное чувство пространства, которого не существовало за стенами дома. Мелодия словно открывала дорогу туда, где не нужно было доказывать право на собственное существование. Там не было ни отцовского недовольства, ни страха перед ошибкой, ни необходимости угадывать чужое настроение. Там можно было искать, пробовать, ошибаться и начинать снова.

Это ещё не было сознательным художественным бунтом. Ребёнок не строил планов освобождения и не думал о том, что однажды станет новатором. Он просто обнаруживал, что музыка обладает собственной жизнью, не сводимой к правильному исполнению упражнения. Она могла быть послушной, но могла и сопротивляться; могла следовать правилам, но могла заставить человека искать новые правила. И чем сильнее взрослые стремились подчинить её установленному порядку, тем настойчивее в мальчике пробуждалось желание услышать нечто своё.

Так постепенно формировался характер, которому впоследствии будут свойственны резкость, независимость и болезненная чувствительность к унижению. Конечно, нельзя объяснить взрослого Бетховена одним только детством или свести сложную личность к отношениям с отцом. Но в семейном доме на Боннгассе уже существовало противоречие между властью и свободой, между дисциплиной и вдохновением, между любовью, которая хочет уберечь, и любовью, которая не знает, как это сделать.

Иоганн мог не замечать, что сын всё чаще погружается в собственные мысли. Для него важнее было, насколько уверенно Людвиг справляется с музыкальной задачей, насколько быстро усваивает новый материал и сможет ли когда-нибудь оправдать возложенные на него надежды. Он смотрел вперёд и видел будущее, которое необходимо было подготовить.

Мальчик же жил настоящим. Он не знал, станет ли знаменитым, не представлял себе великих произведений, не мог предугадать, какие испытания ждут его впереди. Он лишь чувствовал, что за пределами дома существует огромный мир, и где-то в этом мире ему предстоит найти собственный голос.

Однажды ему придётся отделить музыку от отцовских требований, труд — от страха, а стремление к совершенству — от мучительной необходимости заслуживать одобрение. Но для этого нужно было вырасти, научиться сомневаться и принять, что даже самые близкие люди могут ошибаться в своих представлениях о чужом счастье.

Пока же отец и сын оставались рядом, связанные узами, которые невозможно было ни разорвать, ни сделать простыми. Между ними лежали ноты, часы упражнений, невысказанные ожидания и та любовь, которая не всегда умела находить верные слова.

Возможно, именно из таких противоречий и рождается настоящая внутренняя сила. Не из отсутствия боли, не из безупречного детства, а из необходимости однажды ответить самому себе на вопрос, кем ты являешься, когда чужая воля перестаёт указывать тебе путь.

Людвиг ещё не мог сформулировать этот вопрос. Но в нём уже жило стремление, которое не удавалось полностью подчинить ни привычке, ни страху, ни семейному порядку.

И когда его пальцы вновь касались клавиш, он искал не только верную ноту. Он искал возможность однажды сказать миру то, чего не мог выразить никакими другими словами.

Глава третья. Мальчик, который не хотел быть вторым Моцартом

В жизни каждого человека, которому суждено выйти за пределы своего времени, наступает минута, когда чужое величие перестаёт быть только предметом восхищения и стано-

вится невидимой границей, которую необходимо преодолеть. До этой минуты человек может любоваться чужими достижениями, учиться у мастеров, повторять их движения и радоваться тому, что ему позволено прикоснуться к прекрасному. Но однажды в глубине души возникает вопрос, который уже невозможно заглушить ни похвалой, ни успехом, ни даже любовью к тому, кем восхищаешься: а есть ли у меня собственный голос?

Для Людвиг ван Бетховена этот вопрос не возник в один определённый день. Он постепенно складывался из множества впечатлений, из упражнений за клавиатурой, из разговоров взрослых, из чужих ожиданий и из той странной неудовлетворённости, которая порой овладевает человеком даже тогда, когда окружающие считают его удачливым.

Имя Вольфганга Амадея Моцарта уже обладало почти волшебной силой. Его знали как музыканта, который с детства удивлял Европу необыкновенными способностями. Рассказы о ранних выступлениях, о виртуозном исполнении, о способности сочинять музыку в возрасте, когда другие дети только начинали осваивать первые уроки, переходили из одного города в другой, обрастая восхищёнными подробностями. Для родителей юных музыкантов Моцарт был доказательством того, что чудо возможно. Для наставников — примером, который хотелось предъявить ученикам. Для публики — воплощением редкого дара, способного превратить ребёнка в знаменитость.

Но у всякого чуда есть обратная сторона. Когда один человек становится мерой совершенства, другим приходится доказывать, что они достойны существовать рядом с ним.

В доме Бетховенов имя Моцарта не могло оставаться отвлечённым звуком. Оно принадлежало миру, в котором жил Иоганн, миру придворных музыкантов, покровителей, выступлений и профессиональных оценок. Иоганн понимал, что исключительные способности открывают перед ребёнком двери, которые остаются закрытыми для большинства людей. Он хотел, чтобы сын получил признание, чтобы его заметили, чтобы талант принёс семье не только удовольствие, но и более надёжное будущее.

Однако между желанием отца и внутренней жизнью мальчика постепенно возникало расхождение.

Людвиг не был тем ребёнком, которому достаточно было услышать, что он хорош. Похвала могла обрадовать его, но не давала окончательного покоя. За удачно исполненной пьесой следовала следующая задача, за освоенным упражнением — новое испытание. И даже когда пальцы послушно выполняли то, что от них требовали, в нём оставалось ощущение, будто главное ещё не началось.

Он не умел объяснить это чувство. Ему не хватало опыта, чтобы понять, что неудовлетворённость иногда оказывается не признаком неблагодарности, а первым проявлением творческой самостоятельности. Он лишь знал, что музыка может быть чем-то большим, чем ошибочное исполнение нот.

Однажды, оставшись наедине с инструментом, он долго смотрел на раскрытый нотный лист. За окном медленно темнело. В комнате пахло деревом, воском и холодным воздухом, проникшим сквозь неплотно закрытую раму. На бумаге теснились знаки, которые взрослые учили его читать с такой настойчивостью, словно в них содержались ответы на все вопросы.

Людвиг сыграл несколько тактов. Затем вернулся к началу и повторил их. Всё получилось правильно, но музыка показалась ему чужой, будто он старательно произносил слова, смысл которых понимал не до конца.

Он остановился.

В комнате стало тихо.

Мальчик положил руки на колени и прислушался к тому, что осталось внутри после последнего звука. Там не было ни мелодии в привычном смысле, ни готового произведения. Было лишь смутное желание продолжить, но не так, как предписывала запись.

Он снова коснулся клавиш. На этот раз сыграл иначе — не потому, что хотел нарушить правило, а потому, что ему хотелось услышать, что произойдёт, если изменить привычное движение. Несколько звуков сложились в последовательность, которая показалась ему неожиданной. Она была несовершенной, неровной, ещё не имела ясной формы, но в ней присутствовало нечто, чего он не находил в повторении готовой пьесы.

Людвиг замер, словно боялся спугнуть собственную мысль.

Он ещё не сочинил произведения, которое могло бы удивить слушателей. Не открыл музыкального языка, не придумал нового способа строить гармонию и не совершил ничего, что заслуживало бы исторического упоминания. Но на короткое мгновение он почувствовал себя не учеником, воспроизводящим чужую волю, а человеком, который задаёт музыке вопрос и ждёт ответа.

Именно такие мгновения редко замечают окружающие. Они не сопровождаются аплодисментами, не попадают в газеты и не приносят денег. Внешне ничего не меняется: ребёнок сидит за инструментом, за окном проходит экипаж, в соседней комнате продолжаются домашние дела. Но внутри возникает едва заметный сдвиг, после которого прежнего послушания уже недостаточно.

Людвиг ещё не мог назвать себя композитором. Само это слово требовало знаний, опыта и признания, которых у него пока не было. Но он уже начинал понимать, что музыкальное мастерство не исчерпывается умением правильно исполнить написанное другим человеком.

В этом заключалась опасность его будущего пути. Тот, кто стремится только к совершенству, может всю жизнь оставаться превосходным исполнителем. Тот же, кто однажды начинает искать собственную правду, вынужден рисковать: ошибаться, раздражать слушателей, разочаровывать покровителей и сталкиваться с непониманием даже там, где прежде его хвалили.

Возможно, поэтому рассказы о Моцарте производили на Людвига двойственное впечатление. В них было всё, чем мог восхищаться юный музыкант: свобода, виртуозность, необыкновенная память, способность превращать музыку в живое действие. Но чем выше поднимался чужой образ, тем яснее становилась необходимость найти нечто, чего нельзя получить простым подражанием.

Моцарт был Моцартом. Его музыка рождалась из его характера, его времени, его опыта и того удивительного соединения ясности, драматизма и изящества, которое невозможно повторить одним усилием воли. Людвигу предстояло стать другим человеком. Не потому, что он должен был превзойти своего великого предшественника, а потому, что у каждого подлинного художника существует собственная мера правды.

Он не мог знать, что однажды его произведения будут сравнивать с произведениями Моцарта, что музыканты станут спорить о достоинствах двух гениев, а потомки попытаются выстроить между ними иерархию. В детстве всё это было далеко. Его занимал вопрос гораздо более простой и одновременно более трудный: как услышать музыку, которую ещё никто не написал?

Но одного внутреннего желания было недостаточно.

Музыка требовала дисциплины. Чтобы свободно распоряжаться звуками, нужно было понимать их устройство, владеть инструментом, знать традицию и учиться у тех, кто прошёл этот путь раньше. Даже самое смелое воображение оставалось бессильным, если человек не мог придать своей мысли форму. Свобода, которую искал Людвиг, не освобождала его от труда. Напротив, она делала труд ещё более необходимым.

В последующие годы его музыкальное образование продолжалось под руководством наставников, среди которых особенно важную роль сыграл Кристиан Готлоб Нефе. Он помогал юному музыканту осваивать клавир, знакомил его с произведениями крупных композиторов и поддерживал развитие его способностей. Нефе принадлежал к тем педагогам, которые могли

разглядеть за ученической неловкостью возможность будущего роста. Он не мог предсказать всю судьбу своего воспитанника, но понимал, что перед ним незаурядный мальчик.

Для Людвига это было важно. Отец требовал результата, а хороший наставник мог помочь понять путь к нему. Разница заключалась не только в строгости или мягкости. Она состояла в том, видел ли взрослый перед собой готовое доказательство собственных надежд или человека, которому ещё предстояло стать самим собой.

Музыкальный мир Бонна не был велик, но он открывал перед любознательным юношей множество дверей. Здесь звучала церковная музыка, исполнялись произведения придворного репертуара, обсуждались новые сочинения, встречались музыканты, для которых искусство было одновременно призванием и профессией. Людвиг учился не только за инструментом. Он наблюдал за людьми, прислушивался к их разговорам, замечал, как они спорят, как защищают свои решения и как меняются, когда речь заходит о признании.

Он видел, что талант не делает человека свободным автоматически. Даже выдающийся музыкант зависел от обстоятельств, от денег, от покровителей, от вкусов публики. Чтобы сочинять музыку, нужно было иметь возможность работать; чтобы получить эту возможность, приходилось вступать в отношения с людьми, которые далеко не всегда понимали искусство так же, как сам художник.

Так постепенно перед Людвигом открывалась ещё одна сторона будущего: недостаточно было обладать внутренней силой, необходимо было научиться защищать её от внешнего мира, не превращая при этом каждое столкновение в войну.

Его характер уже тогда не обещал лёгкой покорности. Он мог быть упрямым, вспыльчивым, болезненно восприимчивым к несправедливости. Но эти качества ещё не складывались в цельную личность. Они существовали рядом с детской неуверенностью, потребностью в одобрении и желанием почувствовать, что его любят не только за способности.

Возможно, в этом и заключалась одна из самых глубоких драм раннего взросления: Людвиг хотел, чтобы в нём увидели музыканта, но ещё сильнее нуждался в том, чтобы в нём увидели человека. Однако окружающие чаще обращали внимание на его дарование. Талант легко становится удобным объяснением личности: если ребёнок хорошо играет, взрослые начинают говорить о его будущем; если он ошибается, они обсуждают недостаток усердия; если он сердится, его характер кажется препятствием на пути к успеху.

Между тем ребёнок продолжает жить, чувствовать и искать своё место в мире.

Людвиг не хотел быть вторым Моцартом — не в том смысле, что отвергал его музыку или считал себя выше великого мастера. Скорее, сама мысль о заранее назначенном месте была ему чужда. Он не желал прожить жизнь как ответ на чужой вопрос, как доказательство того, что чудо можно повторить. Ему предстояло узнать собственную музыку, а для этого требовалось не столько сравнение с другим человеком, сколько готовность пройти через одиночество поиска.

Настоящее творчество редко начинается с уверенности в собственной исключительности. Чаще оно начинается с неудовлетворённости тем, что уже существует, и с невозможности объяснить, почему привычный ответ кажется недостаточным. Человек ещё не знает, что именно ищет, но уже не может довольствоваться найденным другими.

Такое состояние бывает мучительным. Оно не приносит немедленного признания и не обещает успеха. Оно лишь заставляет возвращаться к работе, снова и снова проверять собственные решения, терпеть неудачи и продолжать там, где более спокойный человек мог бы остановиться.

Людвигу предстояло многое узнать о себе. Ему предстояло покинуть Бонн, отправиться в Вену, встретиться с великими музыкантами своего времени, пережить первые успехи и первые разочарования. Впереди находились годы, когда музыка станет для него не только ремеслом и источником заработка, но и способом выразить то, что трудно сказать словами.

Пока же он был мальчиком, который учился слышать собственную мысль среди множества чужих голосов.

И, быть может, именно поэтому история его становления начинается не с победы над Моцартом и не с громкого заявления о превосходстве. Она начинается с тихого, почти незаметного решения: не отказываться от собственного поиска, даже если путь к нему окажется долгим.

В мире, где каждому хотелось определить его будущее, Людвиг постепенно учился оставлять за собой право на неизвестность.

Он ещё не знал, какую музыку создаст. Но уже начинал понимать, что однажды она должна будет принадлежать ему.

Глава четвёртая. Последний свет материнского окна

В жизни каждого человека есть свет, который он замечает лишь тогда, когда начинает терять. В детстве этот свет кажется таким же естественным, как утреннее солнце, как тепло домашнего очага, как голос, зовущий тебя по имени из соседней комнаты. Ребёнку не приходит в голову, что однажды он может вернуться домой и не услышать этого голоса. Ему кажется, что мать была всегда и потому останется навсегда, что её руки никогда не устанут, её глаза никогда не потускнеют от тревоги, а дверь родного дома будет открываться перед ним независимо от того, сколько дорог он успеет пройти.

Людвиг ван Бетховен ещё не знал, что память о материнском тепле станет одной из самых глубоких и болезненных мелодий его жизни. Он был слишком молод, слишком занят борьбой с отцовской волей, собственными сомнениями и мечтами о будущем, чтобы понимать, насколько хрупким бывает счастье, которое кажется обыкновенным. Ему хотелось вырваться из тесного мира Бонна, доказать своё право быть собой, добиться признания и занять место среди тех, чьи имена произносят с уважением. Но за пределами родного дома его ожидали не только музыка, слава и свобода. Там его ждала жизнь, в которой никто не мог заменить человека, умевшего любить его без необходимости объяснять, почему он достоин любви.

Мария Магдалена Бетховен не была женщиной, способной изменить ход истории. Её имя не обещало войти в учебники, а её жизнь не располагала ни к громким поступкам, ни к общественному признанию. Она принадлежала к тем бесчисленным женщинам, чья судьба складывается из забот, тревог, домашних обязанностей и тихих жертв, о которых редко рассказывают посторонним. Однако именно такие люди нередко становятся невидимой опорой тех, кому впоследствии предстоит потрясти мир. За будущим гением стояла мать, которая видела не только его дар, но и его усталость, не только вспышки характера, но и ту ранимость, которую он старался скрывать даже от самого себя.

Дом Бетховенов не был местом безмятежного семейного счастья. Денег часто не хватало, отцовская требовательность оборачивалась тяжёлым давлением, а забота о младших детях ложилась на плечи Марии Магдалены почти непрерывным грузом. Она знала цену повседневной тревоге. Ей приходилось мирить несовместимое, поддерживать порядок там, где обстоятельства постоянно угрожали его разрушить, и сохранять достоинство, когда сил оставалось всё меньше. В её жизни не было торжественных признаний и благодарных речей. Любовь выражалась в том, что нужно было сделать сегодня, чтобы семья могла прожить ещё один день.

Людвиг, при всей своей гордости и ранней самостоятельности, оставался её сыном. В нём уже проявлялась та непреклонность, которая позднее позволит ему противостоять общественным условностям, а вместе с ней — нетерпение человека, которому тесно в пределах собственной судьбы. Он мог быть резким, замкнутым, несправедливым в словах; мог уходить в музыку так глубоко, словно всё происходящее вокруг переставало иметь значение. Но материнское сердце, вероятно, различало за этой суровой оболочкой то, чего не замечали другие: мальчика, которому было необходимо не столько восхищение, сколько уверенность, что его примут и тогда, когда он потерпит поражение.

Музыка постепенно становилась его настоящим языком. На клавишах он мог выразить то, чему ещё не умел найти названия в человеческой речи. В звуках соединялись его гнев и нежность, жажда свободы и страх перед неизвестностью, желание покорить мир и тайное стремление найти в нём хотя бы одно место, где не нужно ничего доказывать. Возможно, мать не всегда понимала, куда уводит сына его искусство. Но она могла чувствовать, что музыка для него — не забава и не способ заработать на жизнь. Это была сила, которая одновременно возвышала его и отдаляла от привычного семейного круга.

В 1787 году Людвиг впервые отправился в Вену. Город, в котором творили великие музыканты, должен был стать для него дверью в будущее. Там он мог приблизиться к миру, о котором мечтал, встретить людей, способных оценить его талант, и доказать, что Бонн не является пределом его возможностей. Однако поездка оказалась недолгой. Получив известие о тяжёлом состоянии матери, он вернулся домой. История сохранила основные вехи этого путешествия, но не способна передать всего, что происходило в душе молодого человека, когда надежды на новое начало столкнулись с тревогой за самого близкого человека.

Иногда судьба не спрашивает, готов ли человек к испытанию. Она просто отнимает у него возможность отложить самое важное на потом.

Болезнь Марии Магдалены становилась частью семейной жизни, которую невозможно было изменить одним усилием воли. Людвиг мог спорить с отцом, мог стремиться к независимости, мог мечтать о далёких городах и будущих победах, но перед страданием матери его способности и амбиции оказывались бессильны. Он был музыкантом, а не врачом; сыном, а не спасителем. И, быть может, именно тогда впервые почувствовал ту мучительную границу, которая проходит между силой человеческого духа и беспомощностью перед неизбежным.

Мы не знаем всех разговоров, состоявшихся в те дни между матерью и сыном. Не сохранилась подробная запись её последних наставлений, не осталось свидетельства о каждом взгляде, каждом прикосновении, каждом слове, которое могло бы стать для Людвига последним. Поэтому было бы несправедливо придумывать за них точные признания и выдавать их за историю. Но сам факт утраты говорит достаточно. Семнадцатилетний юноша лишился человека, рядом с которым его жизнь, несмотря на все домашние трудности, ещё сохраняла связь с детством.

Мария Магдалена умерла 17 июля 1787 года. Ей было сорок лет. Для истории эта дата стала одной из многих, отмечающих начало и конец человеческой жизни. Для её сына она означала исчезновение особого мира — мира, в котором его знали прежде, чем он стал знаменитым, и любили прежде, чем он успел что-либо доказать.

После её смерти Людвигу пришлось ещё острее ощутить тяжесть семейных обстоятельств. Отец продолжал пить, младшие братья нуждались в заботе, а привычная опора исчезла. Юноше пришлось взрослеть не постепенно, а словно через внезапно распахнувшуюся дверь, за которой уже не было прежней защиты. Он всё ещё был молод, но обстоятельства требовали от него решений, к которым он не мог подготовиться заранее.

Возможно, именно тогда в нём начало укрепляться то суровое чувство ответственности, которое позднее проявится в его отношениях с братьями и особенно с племянником Карлом. В его заботе нередко будет слишком много контроля, в любви — слишком много требований, а в стремлении защитить близкого человека — желание распоряжаться его судьбой. Будущий Бетховен ещё не знал, что доброе намерение не всегда приносит добро и что человек, однажды испытавший собственное бессилие, порой пытается преодолеть его, подчиняя себе тех, кого боится потерять.

Но это было впереди. Пока же он оставался сыном, которому предстояло продолжить жизнь без материнского голоса.

Утрата не обязательно заставляет человека плакать на глазах у других. Иногда она становится тишиной, которую он носит в себе годами. Иногда память возвращается не в годов-

щины и не в минуты торжественной скорби, а в случайном запахе, в очертании окна, в свете, падающем на стол, или в простом обращении, произнесённом чужим голосом. Прошлое не предупреждает о своём возвращении. Оно приходит тогда, когда человек меньше всего готов к встрече с ним.

Можно представить, как спустя годы, уже в Вене, среди рукописей, инструментов, незаконченных сочинений и бесконечных забот, Людвиг вспоминал Бонн не только как город своего детства, но и как место, где остался человек, которому он уже не мог рассказать о своих победах. В этой памяти не было необходимости в громких словах. Достаточно было знать, что мать не увидит его признания, не услышит произведений, над которыми он будет работать ночами, не узнает, какую цену он заплатит за право остаться верным самому себе.

Ему предстояло стать одним из величайших композиторов человечества. Его музыка переживёт эпохи, границы и языки. Люди будут слушать его симфонии, спорить о его характере, исследовать его письма, пытаться понять причины его одиночества и искать разгадку любви, которую он назовёт бессмертной. Но ни одна будущая слава не могла вернуть ему материнскую улыбку. Ни один аплодисмент не мог заменить простого присутствия человека, которому не требовалось объяснять, почему сын сегодня молчит или почему его лицо внезапно омрачилось.

Есть утраты, которые не исчезают, но постепенно меняют своё место в душе. Сначала они занимают всё пространство, заслоняя собой настоящее. Потом человек учится работать, встречаться с людьми, принимать решения и даже радоваться. Кажется, будто жизнь победила горе. Однако однажды, спустя годы, случайная мелодия или давно забытое воспоминание возвращают прежнюю боль, и человек понимает: он не избавился от неё, а только научился жить рядом.

Возможно, именно так память о Марии Магдалене продолжала существовать в Людвиге — не как отдельная история, которую можно рассказать от начала до конца, а как невидимая часть его внутреннего мира. Мы не вправе утверждать, что каждое позднее сочинение Бетховена выросло из детской утраты. Его искусство было гораздо сложнее, чем одна биографическая причина. Но было бы столь же неверно считать, что ранняя смерть матери ничего не изменила в человеке, которому с юности приходилось искать опору в самом себе.

Впереди его ожидал город, где талант мог превратиться в признание, а признание — в независимость. Вена открывала перед ним двери, о которых он мечтал, но не обещала ни покоя, ни счастья. Там он встретит людей, способных восхищаться его музыкой и не понимать его самого, покровителей, готовых поддерживать его, пока он соответствует их ожиданиям, и женщин, чья близость будет одновременно спасением и испытанием. Он узнает, что можно находиться в центре музыкальной жизни Европы и при этом оставаться глубоко одиноким.

Но прежде, чем эта новая жизнь начнётся, в его прошлом останется материнское окно — образ, который нельзя доказать документом, но который помогает понять человеческую цену будущего величия. За окном был дом, за домом — улица, за улицей — город, а за городом уже мерцал огромный мир. Мать не могла пройти с сыном весь этот путь. Она дала ему начало, но не могла защитить от всего, что ждало его впереди.

И, может быть, в этом заключается одна из самых печальных истин человеческой судьбы: те, кто дарит нам первый свет, не всегда доживают до того дня, когда мы сами становимся светом для других.

Людвигу предстояло идти дальше. Впереди была Вена — город великих ожиданий, где его талант должен был встретиться с честолюбием, властью, завистью и надеждой. Он увозил с собой не только музыкальные способности и память о Бонне. Он увозил незаживающую пустоту, которой ещё не умел дать имя. И однажды, когда мир вокруг него начнёт постепенно терять звуки, эта пустота станет частью его борьбы за музыку, которую никто не сможет отнять у него окончательно.

Глава пятая. Город великих ожиданий

Вена встретила Людвига ван Бетховена шумом экипажей, колокольным звоном, головами уличных торговцев и музыкой, доносившейся из открытых окон. После Бонна этот город казался ему огромной сценой, на которой каждый играл предназначенную ему роль. Одни появлялись в роскошных каретах, другие торопились пешком, придерживая шляпы от ветра, третьи стояли у входов в театры и дворцы в надежде получить приглашение туда, где решались судьбы искусства и человеческих состояний.

Людвиг остановился у края площади и посмотрел на величественные здания.

— Вот она, Вена, — произнёс он негромко. — Посмотрим, чего ты стоишь.

Он сказал это скорее самому себе, чем кому-либо другому. В его голосе слышалась уверенность, но за ней скрывалось волнение человека, который наконец оказался там, куда стремился, и теперь должен был доказать, что его мечта не была ошибкой.

Осенью 1792 года Бетховен приехал сюда уже не впервые. Первая поездка в Вену состоялась пятью годами ранее, однако болезнь матери заставила его вернуться в Бонн. Теперь всё было иначе. Марии Магдалены не стало, семейные обстоятельства требовали от него самостоятельности, а покровители помогли сделать следующий шаг. Особенно важную роль сыграл граф Фердинанд фон Вальдштейн, поверивший в его способности и поддержавший его стремление к большой музыкальной карьере.

В кармане Людвига лежали рекомендации. В них были заключены надежды людей, которые считали, что молодой музыкант способен добиться многого. Но рекомендации открывали лишь первые двери. За каждой следующей требовалось подтверждать собственную ценность.

Бетховен остановился перед домом, где ему предстояло встретиться с одним из самых знаменитых музыкантов Европы. Йозеф Гайдн, композитор, чьё имя уже давно пользовалось признанием, согласился заниматься с молодым человеком. Для Людвига это было огромной удачей. И всё же он не собирался входить в чужую жизнь с готовностью безоговорочно подчиняться.

Когда его пригласили в комнату, Гайдн поднялся из-за стола. Перед Бетховеном стоял человек, которого он знал прежде всего по имени и произведениям. Теперь знаменитый композитор оказался перед ним живым человеком — с внимательным взглядом, спокойными движениями и той уверенностью, которую даёт многолетний опыт.

— Вы господин Бетховен из Бонна?

— Да, господин Гайдн.

— Мне говорили о ваших способностях. Граф Вальдштейн весьма высокого мнения о вас.

— Надеюсь, мои работы подтвердят его мнение.

Гайдн улыбнулся.

— Хороший ответ. Значит, вы не собираетесь полагаться исключительно на чужие рекомендации.

— Я предпочитаю, чтобы обо мне судили по музыке.

— Прекрасно. Тогда начнём именно с неё.

Он предложил Людвигу показать одну из его работ. Бетховен достал рукопись и положил её на стол. Пока Гайдн изучал ноты, молодой композитор следил за выражением его лица. Он старался не выдавать нетерпения, но каждое движение пальцев наставника казалось ему значительным.

Наконец Гайдн поднял глаза.

— У вас есть способности. Это несомненно. Вы чувствуете музыкальное развитие, умеете работать с темой. Но вам ещё предстоит многое освоить.

— Что именно вы считаете необходимым исправить?

— Прежде всего научиться управлять собственными замыслами. Иногда вы требуете от музыки слишком много одновременно. Слушателю нужно дать возможность следовать за вашей мыслью.

— А если я не хочу, чтобы он просто следовал за ней? Если я хочу заставить его почувствовать то, чего он прежде не чувствовал?

Гайдн посмотрел на него внимательнее.

— Заставить слушателя чувствовать нельзя, молодой человек. Можно лишь создать музыку, которая даст ему такую возможность.

— Тогда я должен научиться создавать именно её.

— Для этого вы и пришли ко мне.

Ответ прозвучал спокойно, но Людвиг почувствовал в нём не только доброжелательность, но и требование терпения. Гайдн не собирался восхищаться им лишь потому, что тот обладал ярким дарованием. Здесь, в Вене, талант не освобождал от труда.

— Я хочу научиться всему, чему вы можете меня научить, — сказал Бетховен. — Но мне бы не хотелось однажды обнаружить, что я стал похож на своего учителя больше, чем на самого себя.

Гайдн откинулся на спинку стула и рассмеялся.

— Не беспокойтесь. Если вы действительно обладаете тем характером, о котором мне рассказывали, мне едва ли удастся сделать из вас собственную копию.

Людвиг впервые за эту встречу улыбнулся.

— Значит, мы поймём друг друга.

— Не спешите с выводами, господин Бетховен. Мы только начали.

Эта фраза запомнилась ему, хотя в тот день он не мог знать, насколько сложными окажутся их отношения. Между учителем и учеником возникнет не простая связь восхищения и благодарности, а столкновение двух сильных музыкальных натур. Гайдн поможет ему освоить основы мастерства, но Людвиг придётся самостоятельно найти дорогу к собственному искусству.

В последующие месяцы Бетховен всё глубже погружался в музыкальную жизнь Вены. Он занимался, сочинял, знакомился с исполнителями и посещал дома людей, готовых поддерживать талантливого музыканта. Иногда его принимали радушно. Иногда он замечал, что любезность хозяев зависит от присутствия более знатных гостей. В таких случаях он становился молчаливым, а по возвращении домой мог часами работать, словно хотел доказать невидимому судье, что его достоинство не нуждается в чужом разрешении.

Однажды на музыкальном вечере его представили группе аристократов. Один из присутствующих, пожилой господин с безукоризненно завязанным галстуком, выслушал рекомендацию и осмотрел молодого музыканта с нескрываемым любопытством.

— Итак, вы тот самый Бетховен, о котором столько говорят?

— Если речь обо мне, то, вероятно, да.

— Говорят, вы весьма самоуверенны.

— Вероятно, потому, что не всегда соглашаюсь с тем, что слышу.

Несколько человек улыбнулись. Хозяин вечера поспешил вмешаться:

— Господин Бетховен обладает замечательным талантом. Думаю, вы скоро сами убедитесь в этом.

— Талант — вещь любопытная, — заметил аристократ. — Но в обществе недостаточно хорошо играть на фортепиано. Нужно ещё знать своё место.

Людвиг посмотрел ему прямо в глаза.

— Разве место человека определяется тем, на каком инструменте он играет?

Улыбка исчезла с лица собеседника.

— Вы слишком молоды, чтобы рассуждать о подобных вещах.

— Возможно. Но возраст не делает ошибку истиной.

На мгновение в комнате стало тихо. Хозяин вечера перевёл взгляд с одного мужчины на другого, явно опасаясь, что разговор закончится ссорой. Кто-то поспешил заговорить о погоде, другой предложил перейти к музыке. Внешне инцидент был исчерпан, но Людвиг уже почувствовал на себе неодобрение человека, способного повлиять на его положение.

Позднее один из знакомых отвёл его в сторону.

— Вы могли бы быть осторожнее, — сказал он. — Этот господин имеет большое влияние.

— И что же мне следовало сделать? Поклониться его титулу?

— Иногда лучше промолчать.

— А иногда молчание обходится дороже нескольких неприятных слов.

Собеседник вздохнул.

— Вы приехали в Вену, чтобы стать музыкантом или чтобы спорить со всем светом?

— Я приехал сюда, чтобы сочинять музыку. Но я не намерен становиться другим человеком ради того, чтобы кому-то было удобнее меня слушать.

Знакомый покачал головой, однако продолжать спор не стал.

В этом и заключалась одна из главных трудностей Бетховена. Он прекрасно понимал, что зависит от покровителей и общественного признания, но не умел превращать благодарность в безусловное подчинение. Он мог быть признателен человеку за помощь, однако не считал, что за эту помощь обязан отказаться от собственного мнения. Подобная независимость вызывала уважение у одних и раздражение у других.

Слава приходила не сразу, но постепенно его игру стали узнавать. Он обладал редкой способностью удерживать внимание слушателей, превращая исполнение в событие. В его музыке было нечто тревожное и властное. Она не всегда ласкала слух, зато заставляла вслушиваться. Там, где другие стремились прежде всего к изяществу, Бетховен искал силу выражения. Там, где привычная форма казалась завершённой, он пытался обнаружить скрытые возможности.

После одного из выступлений к нему подошёл молодой музыкант.

— Скажите, господин Бетховен, вы всегда играете так, словно спорите с инструментом?

Людвиг посмотрел на него с удивлением.

— А разве музыка не должна спорить?

— С кем?

— С тем, что мешает человеку быть свободным.

Молодой человек задумался.

— Но разве музыка может изменить человека?

— Если она ничего в нём не меняет, зачем тогда её слушать?

Собеседник улыбнулся, не найдя ответа. Бетховен уже отвернулся, увлечённый другим разговором, однако произнесённые слова остались в памяти молодого музыканта.

Возможно, Людвиг и сам не до конца понимал, насколько далеко заведёт его эта убеждённость. Он хотел, чтобы музыка стала пространством свободы, в котором человек мог бы пережить то, чего не позволяли повседневные обстоятельства. Но свобода в искусстве не означала свободы от боли. Напротив, чем больше он требовал от музыки, тем острее должен был чувствовать разницу между совершенством художественного замысла и несовершенством человеческой жизни.

Внешне его положение улучшалось. Он находил учеников, расширял круг знакомств, получал новые возможности для исполнения собственных сочинений. Его имя постепенно приобретало вес. Однако за успехом скрывалась постоянная борьба с самим собой. Он мог быть доволен работой утром и отвергнуть её вечером. Мог с увлечением обсуждать музыку с друзьями, а затем внезапно замкнуться, если разговор задевал что-то слишком личное.

Однажды вечером, вернувшись после очередного приёма, он долго не зажигал свечу. За окном шумел город. Где-то неподалёку слышались шаги, проехал экипаж, хлопнула дверь. Вена продолжала жить, не замечая его усталости.

Людвиг сел за стол и достал лист бумаги. Он хотел записать музыкальную мысль, которая не давала ему покоя весь день, но вместо нот долго смотрел на пустую страницу. Перед ним возникло воспоминание о матери: не определённая сцена, не точные слова, а чувство домашнего тепла, которого уже невозможно было вернуть.

— Если бы ты могла услышать, — произнёс он едва слышно.

Он не договорил. В комнате не было никого, кто мог бы ответить.

Через несколько минут он взял перо и начал писать. Музыка снова стала тем языком, на котором он мог продолжать разговор с миром, даже когда не находил слов для самого себя.

Вена давала ему всё больше возможностей, но не могла избавить его от одиночества. Здесь он встречал людей, восхищавшихся его талантом, и тех, кто пытался измерить его достоинство происхождением. Здесь он учился у великого мастера и одновременно искал путь, по которому никто не мог пройти вместо него. Здесь начинался его путь к признанию, но здесь же постепенно формировался конфликт между человеком, жаждавшим независимости, и обществом, которое привыкло устанавливать правила для всех.

Он ещё не знал, что впереди его ждут испытания, гораздо более тяжёлые, чем столкновения с надменными покровителями. Ему предстояло узнать цену любви, столкнуться с невозможностью изменить чужую судьбу и однажды услышать, как мир, который он так страстно стремился покорить своей музыкой, начинает уходить от него в тишину.

Но пока Людвиг ван Бетховен был молод. Перед ним лежали чистые нотные листы, в голове рождались новые темы, а за окнами Вены продолжалась жизнь. Он не просил у будущего лёгкой дороги. Ему было достаточно, чтобы эта дорога принадлежала ему самому.

Глава шестая. Среди тех, кто привык повелевать

В Вене существовали двери, которые открывались перед человеком ещё до того, как он успевал назвать своё имя. Достаточно было принадлежать к нужной семье, иметь громкий титул или располагать состоянием, чтобы слуги поспешно отступали в сторону, а хозяева дома встречали гостя с почтительностью, недоступной большинству смертных. Но существовали и другие двери — те, перед которыми даже талантливому человеку приходилось ждать, пока кто-нибудь решит, достоин ли он переступить порог.

Людвиг ван Бетховен постепенно узнавал устройство этого мира. Он видел, как музыканты, ещё недавно спорившие о красоте искусства, меняли выражение лица при появлении знатного гостя. Он замечал, как свободные суждения становились осторожными, когда разговор касался влиятельного покровителя, и как люди, гордившиеся собственными убеждениями, вдруг находили тысячу причин не высказывать их вслух.

Его это раздражало. Не потому, что он не понимал необходимости общественных правил, а потому, что слишком часто видел за ними желание одного человека распоряжаться другим.

Однажды вечером его пригласили в дом состоятельного венского аристократа, где собирались любители музыки. Бетховену предстояло исполнить несколько произведений и, возможно, получить новые знакомства, полезные для его карьеры. Он принял приглашение без особого энтузиазма, но отказать себе в возможности выступить перед образованной публикой не мог.

В просторной гостиной горели свечи. Их свет отражался в зеркалах, ложился на золочёные рамы картин и скользил по бокалам, расставленным на столах. Дамы в нарядных платьях беседовали небольшими группами, мужчины обсуждали последние новости, а у окна двое гостей спорили о том, кому из современных композиторов принадлежит будущее европейской музыки.

Когда Бетховена представили хозяину дома, тот пожал ему руку и оглядел его с любопытством.

— Господин ван Бетховен, наконец-то мы познакомились. Мне говорили, что вы обладаете редким дарованием.

— Надеюсь, сегодня у вас будет возможность составить собственное мнение.

— Разумеется. Но прежде позвольте спросить: вы давно живёте в Вене?

— Достаточно давно, чтобы понять, что здесь ценят хорошую музыку.

— И достаточно ли давно, чтобы понять, кто здесь определяет, что считать хорошей музыкой?

Бетховен слегка приподнял брови.

— Разве это определяется одним человеком?

Хозяин рассмеялся, словно услышал остроумную шутку.

— Вы ещё молоды. Со временем узнаете, что в любом искусстве есть свои покровители, свои правила и свои признанные авторитеты.

— Правила помогают музыке обрести форму, — ответил Людвиг. — Но если они мешают ей развиваться, их следует пересматривать.

— Вы полагаете, что можете пересматривать правила, установленные людьми, которые поддерживают искусство задолго до вашего рождения?

— Если эти правила препятствуют искусству, возраст их защитников ничего не меняет.

На лице хозяина появилась улыбка, однако глаза его стали холоднее.

— Смелое заявление для человека, который только начинает свою карьеру.

— Возможно. Но я предпочитаю отвечать за собственные слова.

Их разговор прервали гости, подошедшие поприветствовать хозяина. Бетховен отошёл к окну, чувствуя, что первое впечатление произведено, но едва ли такое, какого от него ожидали.

К нему приблизился мужчина лет сорока, одетый с безукоризненной элегантностью. Он представился графом, имя которого Людвиг прежде слышал, хотя лично знаком с ним не был.

— Вы, кажется, не слишком стараетесь нравиться людям, от которых многое зависит, — заметил граф.

— А вы считаете, что это необходимо?

— Если вы хотите добиться успеха, то да.

— Тогда, возможно, мы по-разному понимаем успех.

Граф посмотрел на него с интересом.

— И как же вы его понимаете?

— Как возможность заниматься своим делом, не спрашивая разрешения у тех, кто считает себя вправе распоряжаться чужой жизнью.

— Вы говорите так, словно всякое покровительство унижает человека.

— Нет. Я благодарен тем, кто помогает мне. Но благодарность не означает, что я должен отказаться от собственного достоинства.

Граф задумался. В отличие от хозяина дома, он не спешил обижаться на прямоту молодого музыканта.

— А если покровитель попросит вас исполнить произведение, которое вам не нравится?

— Я постараюсь объяснить ему, почему не хочу этого делать.

— А если он настаивает?

— Тогда ему придётся найти другого музыканта.

— И вы готовы потерять возможность выступить в его доме?

— Если единственная цена приглашения — моё право решать, что я должен играть, то да.

Граф усмехнулся.

— Вы опасный человек, господин Бетховен.

— Для кого?

— Для самого себя, прежде всего.

Людвиг не ответил. Возможно, в этих словах было больше правды, чем ему хотелось признать. Он понимал, что прямота может лишить его выгодных знакомств, но не видел смысла добиваться признания ценой постоянного притворства. Ему хотелось, чтобы музыка говорила за него, а не служила украшением чужого положения.

Вскоре хозяин вечера объявил, что гости могут занять места у фортепиано. Разговоры постепенно стихли. Бетховен сел за инструмент, проверил положение рук и на мгновение закрыл глаза.

Он знал, что от него ожидают блестящего исполнения. В подобных домах музыка часто становилась частью светского ритуала: гости слушали, оценивали, обменивались впечатлениями и затем возвращались к беседам. Но для Людвигу играть означало гораздо больше. Когда его пальцы касались клавиш, исчезала необходимость объяснять собственные убеждения. Он мог позволить звукам сделать то, чего не достигали самые убедительные слова.

Первые фразы прозвучали сдержанно. Затем музыка стала набирать силу, обретая внутреннее движение, в котором спокойствие постепенно уступало место тревоге, а привычная ясность сменялась напряжением. Бетховен играл так, словно спорил с невидимым собеседником, не соглашаясь с его доводами и снова возвращаясь к вопросу, который невозможно было разрешить одним ответом.

Некоторые гости слушали внимательно. Другие переглядывались. Один пожилой господин, сидевший неподалёку от хозяина, сначала неодобрительно покачивал головой, но постепенно перестал отвлекаться. Когда последний звук угас, несколько секунд никто не произнес ни слова.

Затем раздались аплодисменты.

Хозяин подошёл к пианисту.

— Признаюсь, вы играете необыкновенно. Однако ваша музыка слишком беспокойна. Человек приходит на вечер, чтобы отдохнуть, а не чтобы переживать все несчастья мира.

Бетховен поднялся из-за инструмента.

— Разве искусство обязано усыплять человека?

— Разумеется, нет. Но оно должно приносить удовольствие.

— Иногда удовольствие приходит после того, как человек пережил что-то трудное. А иногда музыка нужна для того, чтобы он перестал довольствоваться тем, что давно перестало его устраивать.

Хозяин неодобрительно улыбнулся.

— Вы слишком серьёзно относитесь к своему ремеслу.

— Возможно, потому, что не считаю его ремеслом в обычном смысле.

— Неужели вы полагаете себя пророком?

— Нет. Я полагаю себя музыкантом. И этого достаточно.

Разговор снова вызвал оживление среди гостей. Одни одобрительно улыбнулись, другие сочли ответ дерзостью. Граф, беседовавший с Бетховеном прежде, наблюдал за происходящим с нескрываемым интересом.

Когда вечер подходил к концу, он вновь подошёл к Людвигу.

— Вы могли бы отвечать мягче, — сказал он.

— Мог бы.

— Но не хотите?

— Не всегда.

— Почему?

Бетховен помолчал, подбирая слова.

— Потому что человек быстро привыкает говорить то, чего от него ждут. Сначала он делает это ради удобства, потом ради выгоды, а однажды уже не помнит, что думал прежде. Я не хочу однажды услышать собственную музыку и обнаружить, что она говорит чужим голосом.

Граф долго смотрел на него.

— Вы боитесь потерять себя?

— Разве этого не следует бояться каждому?

— Большинство людей боится потерять своё положение.

— Положение можно изменить. С собой всё сложнее.

Граф протянул ему руку.

— Надеюсь, господин Бетховен, вы не измените этих убеждений слишком быстро.

— Надеюсь, что жизнь не заставит меня отказаться от них.

Они расстались почти дружелюбно. Однако Людвигу ещё предстояло узнать, что сохранить независимость значительно труднее, чем однажды громко заявить о ней. Мир редко требует от человека отказаться от своих принципов сразу. Гораздо чаще он предлагает небольшие уступки, каждая из которых кажется разумной и безобидной. Согласись сегодня на одно, промолчи завтра о другом, потерпи ещё немного — и однажды обнаружишь, что сам построил стену вокруг собственной свободы.

Бетховен не был безошибочным человеком. Его гордость порой превращалась в упрямство, а стремление защитить независимость мешало ему услышать справедливые замечания. Он мог ранить тех, кто искренне желал ему добра, и отвергать помощь только потому, что не хотел чувствовать себя обязанным. Но в основе его сопротивления лежало убеждение, которое со временем станет важной частью его художественного мира: человеческое достоинство не должно зависеть исключительно от происхождения, богатства или благосклонности сильных.

В последующие годы он ещё не раз окажется в домах аристократов, будет играть перед влиятельными слушателями и принимать поддержку людей, понимавших значение его таланта. Некоторые отношения станут для него источником дружбы и взаимного уважения. Другие принесут разочарование. Он научится различать покровительство, которое помогает человеку развиваться, и покровительство, которое незаметно превращается в попытку управлять им.

Но самым трудным испытанием окажется не спор с графом и не холодная улыбка хозяина дома. Настоящая борьба начнётся тогда, когда собственная жизнь поставит его перед выбором, в котором невозможно будет сохранить всё сразу. Когда любовь потребует не только смелости, но и терпения. Когда желание защитить близкого человека столкнётся с его правом самому принимать решения. Когда гордость, прежде помогавшая Бетховену отстаивать свободу, начнёт мешать ему обрести счастье.

Пока он этого не знал. Впереди ещё лежали годы признания, новые произведения, дружба и разочарования. Он был молод и верил, что достаточно ясно понимать собственные убеждения, чтобы не заблудиться среди чужих желаний.

В ту ночь, возвращаясь домой по освещённым улицам Вены, Бетховен слышал из открытого окна незнакомую мелодию. Кто-то играл медленно, словно вспоминал человека, которого давно не видел. Людвиг остановился и прислушался. В мелодии было что-то простое и печальное, не похожее на блестящие произведения, которыми восхищались в салонах.

Он не знал, кто сидел за инструментом. Не знал, кому предназначались эти звуки. Но музыка заставила его забыть о вечернем споре и о людях, чьи титулы ещё недавно вызывали у него раздражение.

На мгновение ему показалось, что за всеми общественными различиями, за гордостью и честолюбием, существует нечто, что объединяет людей гораздо сильнее, чем они готовы признать. Одиночество, надежда, память о тех, кого уже нельзя вернуть, и желание быть любимым не за достижения, а просто за то, что ты есть.

Бетховен продолжил путь. Он ещё не знал, что однажды именно любовь станет для него испытанием, перед которым бессильны и талант, и слава, и самая непреклонная воля. Пока же ему предстояло научиться побеждать в мире, где почти каждый считал себя вправе повелевать другими.

И он был уверен, что сумеет отстоять своё право оставаться самим собой.

Глава седьмая. Первое признание

Первое признание редко приходит в тот миг, когда человек больше всего в нём нуждается. Обычно оно появляется после долгих лет труда, когда сомнения уже успели стать привычными спутниками, а надежда научилась скрываться за внешней уверенностью. Человек продолжает работать, потому что не может поступить иначе, и лишь потом узнаёт, что его внутренний мир начал менять представления других людей.

Для Людвиг ван Бетховена таким признанием стала Вена — город, который не прощал слабости, но умел замечать подлинное дарование. Здесь его уже знали не только как молодого пианиста из Бонна, рекомендованного влиятельными покровителями. Его игру обсуждали, его импровизации запоминали, а его имя всё чаще возникало в разговорах людей, чьё мнение имело значение для музыкальной жизни столицы.

Однако известность не возникла внезапно. Она складывалась из множества выступлений, уроков, знакомств и часов работы, проведённых за инструментом. Бетховен понимал, что талант без дисциплины быстро превращается в обещание, которое человек так и не исполнит. Он занимался настойчиво, изучал музыкальные формы, совершенствовал мастерство и одновременно искал собственный путь. Ему было мало хорошо играть чужие произведения. Он хотел создавать музыку, в которой узнавали бы прежде всего его самого.

Однажды после выступления к нему подошёл молодой венский музыкант, с которым Людвиг познакомился несколькими неделями ранее. Тот выглядел взволнованным и даже немного растерянным.

— Господин Бетховен, я должен вас поздравить.

— С чем именно?

— Сегодня о вас говорили почти все, кого я встретил после концерта.

— Надеюсь, не только потому, что я кому-нибудь наступил на ногу.

Собеседник рассмеялся.

— Нет, на этот раз вы обошлись без подобных происшествий. Хотя, признаться, некоторые ваши поклонники уже начинают считать, что без скандала вы не можете прожить и недели.

— Значит, у меня появились поклонники. Это уже кое-что.

— Вы шутите, а я говорю серьёзно. Люди спорят о вашей игре. Одни считают её слишком резкой, другие утверждают, что именно такой музыки им давно не хватало.

Бетховен снял перчатки и положил их на стол.

— А вы сами что думаете?

— Я думаю, что после вашего исполнения обычная музыка кажется мне немного слишком спокойной.

Людвиг внимательно посмотрел на него.

— Будьте осторожны. Это опасное признание. Если вы перестанете ценить спокойствие, то скоро начнёте искать бурю даже там, где её нет.

— А разве вы сами не ищете её постоянно?

— Я ищу правду. Иногда она звучит как буря. Иногда — как тишина.

Молодой музыкант задумался.

— Тогда, пожалуй, я ещё многого не понимаю.

— Это хорошее начало, — ответил Бетховен. — Гораздо хуже, когда человек уверен, что уже всё понял.

Он произнёс эти слова с улыбкой, но разговор заставил его задуматься. Ему нравилось, что музыка вызывает споры. Это означало, что слушатели не воспринимают её как приятный фон, который можно забыть сразу после окончания вечера. Однако он не хотел, чтобы его произведения ценили исключительно за необычность. Провоцировать публику было нетрудно; гораздо труднее было создать нечто, что сохраняло бы силу после того, как исчезала первая реакция удивления.

В следующие месяцы Бетховен всё чаще оказывался в центре внимания. Его приглашали выступать, знакомили с новыми покровителями, обсуждали его сочинения. В музыкальных кругах начинали понимать, что перед ними не просто исполнитель, способный удивить виртуозностью. Он был композитором, который стремился расширить возможности привычных форм и заставить музыку выражать более сложные человеческие переживания.

Особое место в его становлении занимали фортепианные сочинения. Инструмент давал ему пространство для эксперимента: здесь можно было противопоставлять мощные аккорды прозрачным мелодическим линиям, сталкивать стремительное движение с неожиданной остановкой, превращать небольшую тему в драматическое развитие. Бетховен словно проверял, сколько противоречий способна вместить одна музыкальная мысль, прежде чем она потеряет внутреннее единство.

Он не отвергал традицию. Напротив, он знал, что настоящее новаторство требует глубокого понимания того, что существовало до тебя. Но он не желал останавливаться там, где другие считали форму завершённой. Для него музыкальное произведение должно было развиваться так, как развивается человеческая судьба: через сомнения, столкновения, ошибки, неожиданные повороты и попытки найти выход там, где, казалось бы, все дороги уже закрыты.

Однажды вечером после исполнения его произведения один из слушателей, пожилой ценитель музыки, подошёл к нему с выражением искреннего недовольства.

— Господин Бетховен, позвольте высказать вам своё мнение.

— Разумеется.

— В вашей музыке слишком много борьбы. Вы словно не доверяете слушателю и каждую минуту пытаетесь заставить его переживать что-то новое.

— А разве доверие означает, что нужно постоянно повторять знакомое?

— Нет. Но искусство должно знать меру.

— Согласен, — ответил Людвиг. — Только мера не всегда одинакова для всех.

Пожилой господин нахмурился.

— Вы полагаете, что любое ваше решение оправдано лишь потому, что оно ваше?

— Нет. Я полагаю, что каждое решение должно быть оправдано самой музыкой. Если я ошибся, произведение это обнаружит. Но я не собираюсь отказываться от замысла только потому, что он непривычен.

— Вы рискуете остаться непонятым.

— Это возможно.

— И вас это не пугает?

Бетховен помолчал.

— Пугает. Но ещё больше меня пугает мысль, что однажды я перестану искать новое только ради того, чтобы меня понимали быстрее.

Старик посмотрел на него уже без прежнего раздражения.

— Вы действительно верите, что музыка должна идти впереди своего времени?

— Я верю, что композитор должен быть честен со своим временем и с самим собой. А уж насколько далеко его музыка уйдёт вперёд, решат другие.

Собеседник поклонился и отошёл. Он не изменил своего мнения полностью, но в его взгляде появилось уважение, которого прежде не было.

Подобные разговоры сопровождали Бетховена на протяжении всей его карьеры. Его произведения вызывали восхищение и сопротивление, а сам он не всегда облегчал окружающим возможность понять себя. Он был способен горячо защищать свою позицию, но порой принимал критику слишком болезненно. Иногда ему казалось, что люди отвергают не отдельное решение, а его самого. В такие минуты гордость становилась щитом, за которым он прятал ранимость.

Постепенно в его жизни появлялись и более устойчивые связи. Люди, способные видеть за резкостью его характера серьёзность намерений, становились его друзьями и покровителями. Среди них были те, кто ценил в нём не только музыкальное дарование, но и независимость суждений. Благодаря таким отношениям он мог работать, не думая каждую минуту о том, где найти средства для существования. Но даже искренняя поддержка не избавляла его от внутреннего беспокойства.

Ему хотелось большего, чем просто признание. Он хотел быть понятым.

Это желание казалось естественным, однако именно оно нередко приносило ему разочарование. Люди могли восхищаться его произведениями и при этом не понимать его личных поступков. Могли ценить его талант, но не принимать его характера. Могли приглашать его в свои дома, но ожидать, что за порогом он оставит собственные убеждения. Бетховен всё чаще убеждался, что восхищение не равнозначно близости, а уважение не всегда означает готовность принять человека целиком.

В музыке всё обстояло иначе. Произведение могло быть трудным, непривычным и даже раздражающим, но в нём сохранялась внутренняя логика, которую можно было искать и открывать снова. Человеческие отношения не обладали такой ясностью. Здесь один и тот же поступок мог быть истолкован совершенно по-разному, а молчание иногда ранило сильнее открытого несогласия. Здесь нельзя было заставить другого человека понять тебя одним усилием воли.

Бетховен ещё не осознавал, насколько важным окажется это различие в его будущей жизни. Он был сосредоточен на работе, на новых произведениях и на укреплении своего положения. Его молодость требовала движения. Он хотел успеть многое, пока перед ним оставалось столько возможностей.

Но однажды, возвращаясь после очередного музыкального вечера, Людвиг услышал, как двое прохожих обсуждают его выступление.

— Это был Бетховен, — сказал один. — Удивительный музыкант.

— Да, но какой трудный человек! — ответил другой.

— Возможно. Но разве это имеет значение, если он умеет так играть?

— Для музыки, может быть, и нет. Для тех, кто должен с ним жить, значение имеет.

Людвиг замедлил шаг. Он не обернулся и не вмешался в разговор. Слова случайных прохожих задели его сильнее, чем он хотел признать. Он привык думать, что его характер — неизбежная часть борьбы за независимость, и редко задавался вопросом, какую цену за эту борьбу платят окружающие.

«Для тех, кто должен с ним жить».

Он повторил эти слова про себя, продолжая идти по улице.

Впервые за долгое время ему пришло в голову, что человек может быть прав в своих убеждениях и всё же причинять боль тем, кого любит. Что стремление защитить собственную свободу не всегда освобождает других. Что даже самые благородные намерения способны превратиться в требование, если человек не умеет отличать собственную волю от чужой.

Эта мысль не изменила его сразу. Людвиг не был человеком, который легко отказывается от привычек после одного случайного разговора. Но она осталась с ним, словно вопрос, на который ещё предстояло найти ответ.

Вскоре Бетховену предстояли новые выступления и новые возможности. Его имя становилось всё заметнее, а музыкальный язык — всё более самостоятельным. Он приближался к

той поре, когда его сочинения начнут менять не только представления о фортепианной музыке, но и само понимание роли композитора в обществе.

Однако за каждым признанием скрывалось новое испытание. Чем больше людей прислушивались к его музыке, тем сильнее становилось ожидание, что он будет соответствовать созданному ими образу. От него ждали смелости, силы, необыкновенности. И чем настойчивее публика требовала подтверждения его исключительности, тем труднее ему становилось позволить себе обычную человеческую слабость.

Он мог признаться в сомнении перед чистым листом бумаги. Мог перечеркнуть страницу, над которой работал несколько часов. Мог признать, что музыкальная мысль не складывается так, как ему хотелось. Но в обществе ему было гораздо труднее показать неуверенность. Там он предпочитал держаться прямо, отвечать резко и создавать впечатление человека, которого невозможно поколебать.

Так постепенно между его внутренним миром и внешним обликом возникало расстояние. Чем увереннее он выглядел, тем меньше людей замечали, как часто он сомневался. Чем громче звучала его музыка, тем труднее ему становилось говорить о том, что причиняло боль.

В тот вечер, когда город уже погрузился в темноту, Бетховен вернулся к своим рукописям. Он сел за стол, придвинул свечу и начал просматривать написанное. За окном проехала карета. На улице кто-то рассмеялся. Из соседнего дома донеслись негромкие голоса.

Людвиг остановился на одной музыкальной фразе и долго смотрел на неё. Затем взял перо и изменил несколько нот.

Ему хотелось, чтобы музыка говорила яснее, глубже, правдивее. Он не знал, кто услышит её через десять лет, кто отвергнет и кто сохранит в памяти. Не знал, станет ли она причиной нового признания или очередного спора. Но теперь он понимал, что успех не может быть окончательным ответом на вопрос, ради чего человек занимается искусством.

Признание подтверждало, что его слышали. Оно ещё не доказывало, что его поняли.

И, возможно, именно поэтому он продолжал работать. Ему предстояло создать музыку, которая переживёт его собственную жизнь, но прежде он должен был научиться различать громкие голоса публики и тот тихий внутренний голос, без которого невозможно настоящее творчество.

Вена постепенно привыкала к имени Людвига ван Бетховена. Однако сам Бетховен только начинал понимать, каким человеком ему предстоит стать. Впереди были новые встречи, новые чувства и испытания, которые нельзя было разрешить одной лишь силой характера.

И где-то среди этих будущих встреч уже скрывалась женщина, чьё появление заставит его усомниться в том, что независимость способна защитить человека от любви.

Глава восьмая. Незнакомка в толпе

В тот вечер Вена казалась Людвигу ван Бетховену особенно шумной. Улицы наполняли экипажи, у дверей театра собирались нарядно одетые зрители, а из освещённых окон доносились обрывки разговоров и музыки. Город жил так, словно в нём никогда не наступало время одиночества. Каждый куда-то спешил, кого-то искал, на что-то надеялся и был убеждён, что самое важное событие его жизни ещё впереди.

Бетховен возвращался с музыкального вечера, где ему пришлось выслушать немало любезностей и несколько замечаний, которые он предпочёл бы забыть. Его хвалили за исполнение, расспрашивали о новых сочинениях, приглашали на будущие выступления. Однако за внешним успехом он чувствовал усталость. Ему хотелось тишины, собственного стола и чистого листа бумаги, на котором можно было бы начать всё заново.

У входа в небольшой книжный магазин он остановился, пропуская группу людей. Именно тогда он заметил женщину, стоявшую немного в стороне от остальных.

Она не привлекала внимания нарочитой красотой или дорогим нарядом. Её платье было скромным, движения — спокойными, а лицо выражало сосредоточенность человека, который

думает о чём-то своём и не замечает окружающей суеты. В руках она держала тонкую книгу. Несколько раз она перелистнула страницы, затем подняла глаза, словно пытаясь найти кого-то среди прохожих.

Бетховен не знал, почему задержал на ней взгляд. Возможно, его привлекло выражение её лица: в нём не было той светской любезности, к которой он привык на музыкальных вечерах, и не чувствовалось желания кому-либо понравиться. Женщина казалась погружённой в собственные мысли, и эта внутренняя сосредоточенность неожиданно заинтересовала его.

В этот момент из дверей магазина вышел мальчик с большой пачкой книг. Он не заметил женщину, задел её локтем, и несколько листов, вложенных между страницами, упали на мостовую.

— Осторожнее! — крикнул кто-то из прохожих.

Мальчик растерянно остановился. Женщина присела, чтобы собрать бумаги, но ветер подхватил один из листов и понёс его вдоль улицы.

Бетховен успел наступить на край бумаги прежде, чем она улетела под колёса экипажа. Он поднял лист и подошёл к незнакомке.

— Кажется, это ваше.

— Благодарю вас. Я уже решила, что потеряла его.

Она протянула руку, но прежде, чем взять бумагу, посмотрела на него.

— Вы спасли не только лист, но и несколько часов моей работы.

— Тогда мне следует надеяться, что на нём написано нечто достойное спасения.

— А вы всегда судите о ценности вещи прежде, чем узнаете, что она собой представляет?

— Нет. Но мне нравится узнавать, ради чего люди так беспокоятся.

В её глазах мелькнула улыбка.

— В таком случае вам придётся узнать гораздо больше, чем вы рассчитывали.

Она забрала листы и аккуратно сложила их в книгу.

— Ещё раз благодарю вас.

— Не за что.

Бетховен собирался продолжить путь, но женщина вдруг спросила:

— Простите, вы случайно не господин Бетховен?

Он остановился.

— Смотря кто об этом спрашивает.

— Человек, который недавно слышал ваше исполнение.

— И каково ваше мнение?

— Вы играете так, словно сердитесь на фортепиано.

Людвиг невольно рассмеялся.

— Сегодня я уже слышал нечто подобное.

— Значит, в Вене у вас много недоброжелателей.

— Или слишком много людей, которым хотелось бы, чтобы я играл иначе.

— А вы уверены, что они ошибаются?

Вопрос был задан спокойно, без вызова. Именно поэтому он задел его сильнее, чем обычная критика. Бетховен привык спорить с людьми, которые заранее знали, что он должен делать. Незнакомка же, казалось, не собиралась ни осуждать его, ни оправдывать. Она просто хотела услышать ответ.

— Нет, — сказал он после короткого молчания. — Не уверен. Но я не могу писать музыку, постоянно спрашивая себя, понравится ли она каждому.

— И всё же вы хотите, чтобы вас слышали.

— Конечно.

— Тогда, возможно, дело не только в том, что вы хотите сказать. Возможно, ещё и в том, как другой человек способен вас услышать.

Бетховен внимательно посмотрел на неё.

— Вы музыкант?

— Нет.

— Тогда откуда у вас такие мысли о музыке?

— Разве для того, чтобы слушать, нужно самому быть музыкантом?

— Нет. Но для того, чтобы судить о ней, требуется хотя бы немного понимания.

— А для того, чтобы судить о человеке, требуется знать его самого. Вы ведь не позволили бы мне составить мнение о вас по одному вечеру?

Он не ответил сразу. В её словах не было ни почтительности, ни желания продемонстрировать собственную образованность. Она разговаривала с ним так, словно перед ней находился обычный человек, а не музыкант, о котором уже начали говорить в венских салонах.

— Вы правы, — произнёс он наконец. — Один вечер ничего не доказывает.

— Тогда не сердитесь на тех, кто ещё не научился вас понимать.

— А если они никогда не научатся?

— Это уже будет их потеря, а не ваша.

Она сказала это так просто, что Бетховен на мгновение забыл приготовленный ответ.

Из театра вышла новая группа зрителей. Кто-то громко позвал женщину, назвав её по имени, но уличный шум заглушил обращение. Она повернула голову, словно узнала голос, и на мгновение её лицо изменилось. В нём появилось беспокойство, которое она тут же постаралась скрыть.

— Мне пора, — сказала она.

— Мы даже не познакомились.

— Разве для этого обязательно знать имя?

— Обычно знакомство с него начинается.

— А иногда с разговора, который человек не ожидает продолжить.

Она слегка поклонилась и направилась к ожидавшей её карете. Бетховен смотрел ей вслед, пока толпа не скрыла её фигуру. Он не знал, кто она, где живёт и почему её лицо на мгновение стало таким печальным. У него остались лишь несколько фраз и странное чувство, будто короткая встреча оказалась значительнее, чем должна была быть.

Он продолжил путь домой, однако разговор не отпускал его. Женщина не пыталась произвести на него впечатление, не просила сыграть для неё и не говорила о его таланте с тем восторгом, который порой утомлял его сильнее открытой критики. Она задавала вопросы и ждала ответов, не стремясь победить в споре. Её интересовал не столько знаменитый музыкант, сколько человек, который скрывался за его резкостью.

Это было непривычно.

Дома Бетховен зажёл свечу и сел за письменный стол. Он раскрыл рукопись, над которой работал последние дни, но мысли возвращались к случайной встрече. Он попытался сосредоточиться, перечитал несколько тактов, изменил одну фразу, затем другую. Наконец отложил перо.

— Что же ты за человек? — произнёс он, обращаясь к воспоминанию о незнакомке.

В комнате было тихо. Ответить ему было некому.

Он усмехнулся собственной рассеянности и снова взялся за работу. Ему не хотелось придавать случайной встрече особое значение. Вена была полна людей, каждый день приносивших в его жизнь новые лица и разговоры. Женщина могла оказаться гостьей одного из аристократических домов, родственницей какого-нибудь чиновника или просто читательницей, случайно узнавшей его после концерта. Через несколько дней он, возможно, уже не вспомнит её слов.

Но он вспомнил их на следующее утро.

В течение дня Людвиг несколько раз ловил себя на том, что мысленно возвращается к вопросу, который она задала: не ошибается ли он, полагая, что музыка должна прежде всего

выражать его собственную правду? Этот вопрос раздражал его именно потому, что не был лишён смысла. Он привык защищать независимость, но почти не задумывался о том, что желание быть понятым тоже требует усилий. Нельзя требовать от слушателя внимательности, если сам не пытаешься понять, что происходит в душе другого человека.

Вечером он снова отправился по делам и прошёл мимо книжного магазина. Он не собирався искать незнакомку. По крайней мере, именно так он объяснил бы своё появление здесь, если бы кто-нибудь спросил. Он остановился у витрины, изучил несколько книг и уже хотел уйти, когда услышал знакомый голос.

— Вы снова спасаете чужие бумаги?

Он обернулся.

Женщина стояла у входа. На этот раз в руках у неё не было книги, а на лице появилась улыбка, которую он уже видел накануне.

— Только если они сами бросаются мне под ноги, — ответил Бетховен. — Но сегодня, кажется, всё спокойно.

— Это ненадолго. В Вене даже бумага редко остаётся на месте.

— Значит, город опаснее, чем я думал.

— Особенно для тех, кто слишком серьёзно относится к своим планам.

— А вы, судя по всему, не относитесь к ним серьёзно?

— Я отношусь к ним серьёзно. Просто знаю, что жизнь не обязана их исполнять.

Он посмотрел на неё с новым интересом.

— Вы говорите так, словно уже успели во всём разочароваться.

Улыбка исчезла с её лица.

— Нет. Я говорю так, потому что ещё надеюсь не разочароваться окончательно.

В этих словах было что-то, что он не решился расспрашивать. Женщина посмотрела на часы и, словно спохватившись, направилась к улице.

— Мне опять пора.

— Вы всегда так спешите?

— Не всегда. Иногда мне приходится.

— Тогда, может быть, в следующий раз вы позволите мне угостить вас кофе? Без случайных происшествий и разбросанных бумаг.

Она остановилась. Несколько секунд казалось, что она собирается отказаться. Затем её лицо смягчилось.

— Возможно. Если в следующий раз вы не станете спорить со мной о музыке.

— Не обещаю.

— Тогда и я не обещаю прийти.

Она рассмеялась и ушла, оставив его с ощущением, что разговор ещё не закончен.

Бетховен не знал, почему ему захотелось увидеть её снова. Это не было тем мгновенным восхищением, которое иногда возникало при встрече с красивой женщиной. Его привлекало другое: рядом с ней ему не удавалось спрятаться за привычной уверенностью. Она не стремилась его разоблачить, но и не позволяла ему считать собственные убеждения единственно возможными. В её присутствии он должен был не только говорить, но и слушать.

Для человека, привыкшего защищать свою независимость, это оказалось неожиданным испытанием.

В следующие дни он несколько раз проходил той же улицей. Иногда останавливался у витрины, иногда заглядывал в магазин, делая вид, что ищет книгу. Он не признался бы даже самому себе, что ждёт встречи. Однако всякий раз, когда дверь открывалась и оттуда выходил незнакомый человек, он невольно поднимал глаза.

Она появилась только через несколько дней.

— Вы всё-таки нашли дорогу сюда, — сказала она, заметив его у витрины.

— Я живу в Вене. Мне разрешено ходить по её улицам.

— Разумеется. Но почему-то мне кажется, что сегодня вы оказались здесь не совсем случайно.

— Вы слишком высокого мнения о собственной проницательности.

— А вы слишком высокого мнения о своей способности скрывать очевидное.

Он покачал головой.

— С вами невозможно разговаривать.

— Неправда. С вами невозможно разговаривать, если вы заранее решили, что правы.

Бетховен рассмеялся. На этот раз смех был искренним и свободным. Он вдруг понял, что давно не встречал человека, рядом с которым мог бы спорить без ощущения, что от исхода разговора зависит его положение или достоинство.

Они отправились в небольшое кафе неподалёку. Внутри было тепло, пахло кофе и свежей выпечкой. За соседними столиками беседовали чиновники, торговцы и несколько студентов. Женщина выбрала столик у окна, а Бетховен заказал кофе.

— Теперь вы должны сказать мне своё имя, — заметил он.

— А если я предпочитаю оставить его при себе?

— Тогда мне придётся обращаться к вам «незнакомка».

— Это звучит почти как название романа.

— Возможно, когда-нибудь я сочиню оперу о женщине, которая не желала называть себя.

— И что же произойдёт с этой женщиной?

— Пока не знаю. Мне ещё предстоит решить, заслуживает ли она счастливого конца.

— Значит, вы считаете, что имеете право решать судьбу своих героев?

— Разумеется. Они ведь созданы мной.

— Но если вы хотите, чтобы они казались живыми, разве не должны вы позволить им поступать вопреки вашим желаниям?

Людвиг задумался.

— Вы опасно близки к тому, чтобы убедить меня отказаться от собственного авторитета.

— Не отказывайтесь. Просто не путайте авторитет с правом всегда быть правым.

Он покрутил чашку в руках и посмотрел на неё внимательнее.

— Вы, должно быть, много читаете.

— Достаточно, чтобы понимать: человек часто говорит о других то, чего не хочет признать в себе.

— И что же я не хочу признать?

Она не ответила сразу. За окном проехала карета, и свет на мгновение скользнул по её лицу.

— Что вы не только хотите, чтобы вас уважали. Вы хотите, чтобы вас поняли. Но боитесь, что, если покажете людям свою слабость, они перестанут уважать вас.

Бетховен поставил чашку на блюдце.

— Вы слишком мало обо мне знаете, чтобы делать такие выводы.

— Возможно. Тогда я ошибаюсь.

Она произнесла это без вызова и не стала защищать своё мнение. Именно это обезоружило его. Он ожидал возражений, новых доводов, уверенности в собственной правоте, но она спокойно оставила ему возможность не соглашаться.

— Нет, — сказал он после паузы. — Возможно, вы не совсем ошибаетесь.

Женщина посмотрела на него с удивлением, но не стала торжествовать.

— Видите? Иногда признать чужую правоту не так страшно.

— Не привыкайте. Это случается редко.

— Тогда я постараюсь запомнить этот день.

Они разговаривали ещё долго. О книгах, музыке, Вене, о том, почему люди так часто принимают внешнюю уверенность за внутреннюю силу. Она не рассказывала о себе подробно, но и не казалась человеком, который намеренно создаёт тайну. Скорее, у неё были причины не открывать незнакомцу всё сразу. Бетховен чувствовал это и впервые за долгое время не пытался немедленно добиться ответа.

Когда они вышли из кафе, уже смеркалось.

— Увидимся ли мы снова? — спросил он.

— Если вы перестанете делать вид, что встречаете меня случайно.

— А если не перестану?

— Тогда вам придётся ещё несколько раз спасти мои бумаги.

Она улыбнулась и протянула ему руку.

— До свидания, господин Бетховен.

Он осторожно пожал её руку.

— До свидания, незнакомка.

Она ушла, а он ещё некоторое время стоял на улице, глядя ей вслед. Встреча не дала ему ни имени, ни обещания, ни уверенности в том, что их пути пересекутся снова. Но впервые за долгое время он почувствовал, что разговор с другим человеком может быть не состязанием, в котором кто-то должен победить, а дорогой, на которой оба узнают нечто новое.

Он не знал, станет ли эта женщина частью его жизни. Не знал даже, действительно ли хочет этого. Ему было непривычно испытывать интерес, который нельзя было свести к восхищению, привычке или желанию добиться взаимности. Здесь не было ни покровительства, ни общественных ожиданий, ни необходимости доказывать собственную значимость. Была только возможность встретить человека, рядом с которым привычные ответы переставали казаться окончательными.

Вернувшись домой, Бетховен открыл окно. Издалека доносился шум Вены. Он сел за инструмент и коснулся клавиш, пробуя несколько музыкальных фраз. Сначала звуки складывались в привычную последовательность, но затем возникла новая мысль — более мягкая, задумчивая, словно в ней оставалось место не только для борьбы, но и для вопроса, на который невозможно ответить в одиночку.

Он не стал записывать её сразу. Позволил музыке прозвучать ещё раз, прислушиваясь к собственному ощущению.

Возможно, эта встреча ничего не изменит. Возможно, через несколько недель незнакомка исчезнет из его жизни, оставив лишь воспоминание о разговорах в маленьком кафе. Но иногда человеческая судьба начинает меняться не с громкого признания и не с обещания вечной любви. Иногда достаточно одного человека, который задаёт вопрос, на который ты прежде не решался ответить.

Бетховен снова коснулся клавиш.

За окном продолжалась жизнь. Вена готовилась к очередному вечеру, в домах зажигались свечи, а люди спешили навстречу своим надеждам и разочарованиям. Никто из них не знал, что в одной комнате молодой композитор пытался выразить в музыке чувство, которому ещё не нашёл названия.

И сам он пока не понимал, что именно изменилось в нём после встречи с женщиной, чьего имени он так и не узнал.

Глава девятая. Музыка против правил

В тот вечер Вена казалась Бетховену особенно тесной. Улицы были полны экипажей, у дверей освещённых домов толпились приглашённые, а из открытых окон доносились звуки клавесинов, скрипок и человеческих голосов. Город жил музыкой, но музыкой, подчинённой правилам: каждая мелодия должна была знать своё место, каждый исполнитель — помнить о

приличиях, а каждый композитор — понимать, чего от него ждут люди, способные оплатить его труд.

Бетховен всё чаще чувствовал, что не может принять эти условия без внутреннего сопротивления.

Он сидел за фортепиано в небольшой комнате, где свеча на письменном столе освещала исписанные нотными знаками листы. На одном из них несколько тактов были зачёркнуты так густо, словно автор пытался не исправить музыку, а вырвать из бумаги собственное сомнение. Он снова сыграл начало, остановился, нахмурился и повторил его с такой силой, что инструмент отозвался резким, почти сердитым звуком.

— Нет, — произнёс он вслух. — Не так.

Он изменил последовательность аккордов, задержал один звук, неожиданно усилил следующий. Музыка словно споткнулась о невидимую преграду, но вместо того, чтобы отступить, перескочила через неё и устремилась дальше. В этой фразе было что-то непривычное для слуха, воспитанного на изяществе и ясной симметрии. Она не просила разрешения войти в комнату. Она входила сама.

В дверь постучали.

— Если это снова хозяин квартиры, передайте ему, что я не собираюсь играть тише только потому, что у него чувствительные стены! — крикнул Бетховен.

Дверь открылась, и на пороге появился молодой музыкант, с которым Людвиг познакомился в одном из венских салонов. Его звали Карл, он играл на скрипке и обладал редким даром говорить неприятные вещи с таким добродушным видом, будто оказывал собеседнику услугу.

— Хозяин просил передать, что стены у него вполне здоровы, — сказал гость. — Но соседи начинают сомневаться в собственном рассудке.

— Значит, музыка действует.

— На соседей — несомненно. На слушателей в салонах — пока не всегда.

Бетховен повернулся к нему.

— Ты пришёл сообщить мне, что я плохо играю?

— Я пришёл предупредить тебя, что завтра у князя Лихновского соберутся люди, которые хотят услышать новую вещь. И некоторые из них уже уверены, что знают, какой она должна быть.

— Прекрасно. Тогда им следовало пригласить не меня, а собственные ожидания.

Карл рассмеялся, но, заметив выражение лица друга, быстро стал серьёзным.

— Людвиг, я говорю не о том, чтобы ты отказывался от себя. Просто в Вене многое решают не только ноты. Здесь есть покровители, знакомства, деньги. Иногда человеку приходится сделать шаг навстречу публике, чтобы однажды получить возможность вести её за собой.

— А если этот шаг заведёт меня не туда?

— Тогда ты вернёшься.

— Не всегда можно вернуться, Карл. Иногда достаточно одного неверного шага, чтобы люди решили, будто ты согласен идти за ними всю жизнь.

Карл подошёл к столу и посмотрел на исписанные страницы.

— Что ты пишешь?

— Пытаюсь понять, почему музыка должна быть красивой только в том случае, если никого не тревожит.

— Потому что люди приходят на концерт отдыхать.

— Тогда пусть идут гулять в сад. Там достаточно птичьего пения и шелеста листьев. Музыка нужна человеку не только для того, чтобы он забыл о жизни. Иногда она должна заставить его вспомнить о ней.

Гость некоторое время молчал. В резкости Бетховена была не одна гордость. Карл знал, что за ней скрывается почти болезненная нетерпимость к фальши. Людвиг мог быть несправедливым, вспыльчивым, невыносимым в споре, но редко соглашался сказать то, во что не верил.

— Завтра ты сам увидишь, — наконец произнёс Карл. — Только прошу тебя: не объявляй войну всем присутствующим ещё до того, как они сядут.

— Ничего не обещаю.

— Именно этого я и боялся.

На следующий вечер в доме князя собрались гости. В высоких зеркалах отражались свечи, на столиках стояли бокалы, дамы обсуждали последние новости, а мужчины с важным видом рассуждали о политике и искусстве. Музыка в этом обществе была не только удовольствием, но и знаком положения. Умение отличить удачную фразу от неудачной считалось признаком образованности, хотя далеко не каждый, кто говорил об искусстве, был способен понастоящему его услышать.

Бетховен появился без особого желания нравиться. Его одежда была аккуратной, но в манере держаться не было той отточенной любезности, которую ценили при дворе. Он поклонился хозяину, ответил на несколько приветствий и вскоре оказался перед фортепиано.

— Нам говорили, что вы готовите нечто совершенно новое, — заметил один из гостей, пожилой человек с безупречно завязанным шейным платком. — Надеюсь, новое не означает непонятное.

— Иногда, — ответил Бетховен, — чтобы понять новое, приходится на время отказаться от уверенности, что старое объясняет всё.

Несколько человек переглянулись. Князь Лихновский, давно привыкший к характеру молодого музыканта, спрятал улыбку.

— Людвиг, сыграйте нам. Пусть музыка ответит вместо нас.

Бетховен сел за инструмент.

Первые звуки прозвучали сдержанно. Он не торопился, словно давал слушателям время устроиться в привычном мире гармонии. Затем музыка стала менять направление. Там, где гости ожидали мягкого завершения, возникало напряжение; там, где просилась лёгкая улыбка, появлялась серьёзность. Тема возвращалась, но уже не была прежней: она словно прошла через испытание и принесла с собой новое значение.

Один из мужчин нахмурился. Дама возле окна перестала шептаться с соседкой. Кто-то негромко постучал веером по ладони, выражая нетерпение, однако постепенно даже самые самоуверенные слушатели умолкли.

Бетховен играл так, словно в комнате никого не было. Его руки двигались по клавишам с необыкновенной энергией, а лицо менялось вместе с музыкой. Он не стремился понравиться. Он требовал от слушателей большего, чем простого одобрения.

Когда последний аккорд затих, тишина продержалась несколько мгновений.

— Это... неожиданно, — сказал пожилой гость.

— Надеюсь, не слишком неприятно, — отозвался Бетховен.

— Вы заставляете музыку спорить сама с собой.

— Разве человек не поступает так каждый день?

— Но искусство должно примирять противоречия.

— Иногда. А иногда оно должно показать, что примирение ещё не заслужено.

Князь Лихновский поспешил вмешаться, пока разговор не превратился в очередное сражение.

— Давайте не будем судить о произведении по одному вечеру. Некоторые вещи требуют повторного слушания.

— Некоторые вещи, — сухо заметил Бетховен, — требуют не повторного слушания, а честного первого.

В дальнем конце комнаты кто-то тихо рассмеялся. Несколько человек отвернулись, скрывая недовольство. Хозяин вечера сделал вид, что не заметил этого обмена репликами, и предложил гостям перейти к ужину.

Бетховен поднялся из-за инструмента. Он чувствовал усталость, но не сожаление. Он знал, что не всякая музыкальная мысль, возникавшая в его голове, окажется удачной. Он знал также, что впереди его ждут ошибки, переделки и годы работы. Однако одна вещь становилась для него всё яснее: если он начнёт писать лишь то, что заранее одобрено, то постепенно перестанет узнавать в собственных произведениях самого себя.

Он вышел в соседнюю комнату, где было прохладнее и тише. У окна стояла женщина в тёмном платье. Бетховен узнал её сразу — ту самую незнакомку, с которой недавно разговаривал о музыке.

Она повернулась к нему.

— Вы сегодня рассердили половину зала, — сказала она.

— Только половину? Значит, я теряю сноровку.

— Вы шутите, когда вам хочется сердиться.

— А вы наблюдаете за мной, когда вам хочется спорить.

— Возможно, потому, что вы даёте для этого слишком много поводов.

Он остановился рядом с ней. В комнате были слышны голоса гостей, но здесь они казались далёкими, словно принадлежали другой жизни.

— Вам понравилась музыка? — спросил он.

— Вы хотите услышать правду или вежливый ответ?

— Если бы мне был нужен вежливый ответ, я спросил бы кого-нибудь другого.

Она улыбнулась.

— Тогда правда такова: сначала я не поняла, куда вы ведёте слушателя. Мне показалось, что вы намеренно отказываетесь от того, что уже умеете делать хорошо. Но потом я почувствовала, что вы не разрушаете порядок ради самого разрушения. Вы ищете порядок, которого ещё нет.

Бетховен внимательно посмотрел на неё.

— Это лучше, чем большинство отзывов, которые я слышал сегодня.

— Не спешите благодарить. Я не уверена, что мне нравится всё, что вы делаете.

— И это лучше, чем большинство отзывов, которые я слышал сегодня.

На этот раз она рассмеялась свободно, без светской осторожности. В её смехе не было желания привлечь внимание или показать собственное превосходство. Он прозвучал так естественно, что Бетховен неожиданно забыл о людях в соседней комнате.

— Вы всегда так разговариваете? — спросила она.

— Как?

— Будто всякий разговор — это поединок.

— Не всякий.

— А какой же нет?

Он задумался. Ему хотелось ответить легко, отшутиться, но рядом с этой женщиной привычные слова почему-то казались недостаточными.

— Тот, в котором человек не пытается победить другого, — сказал он наконец.

Она отвела взгляд к окну.

— Значит, вам редко удаётся такой разговор.

— Редко удаётся встретить человека, который не принимает несогласие за оскорбление.

— А вы сами никогда не принимаете его за оскорбление?

— Принимаю. Но обычно успеваю понять это слишком поздно.

— По крайней мере, вы честны.

— Не всегда. Просто не умею долго притворяться.

Между ними возникло молчание, но на этот раз оно не было неловким. Бетховен заметил, что женщина смотрит не на него, а на отражение свечи в стекле. Ему захотелось спросить о её жизни, о доме, в котором она выросла, о людях, чьи ожидания, возможно, так же теснили её, как чужие правила теснили его музыку. Но он понимал: право на чужую откровенность нельзя получить одним удачным разговором.

— Вы часто бываете у князя? — спросил он вместо этого.

— Достаточно часто, чтобы знать, что здесь говорят о людях, когда они выходят из комнаты.

— И что же говорят обо мне?

— Что вы талантливы, неблагодарны, вспыльчивы и совершенно не умеете пользоваться теми возможностями, которые вам предоставляют.

— Значит, обо мне говорят правду.

— Не всю. Никто не сказал, что вы боитесь стать удобным.

Он резко повернулся к ней.

— Почему вы решили, что я боюсь?

— Потому что вы защищаетесь ещё до того, как вас успели обвинить. И потому, что сегодня, играя, вы несколько раз смотрели на людей так, словно заранее ждали от них предательства.

Его лицо стало суровым.

— Вы слишком много себе позволяете.

— Возможно. Но вы сами спросили, что о вас говорят.

— Я спросил, что говорят другие. Не что думаете вы.

— А разве вас интересует мнение людей, которые ничего не думают?

Он хотел возразить, но не нашёл ответа, который не прозвучал бы жалко. Впервые за этот вечер ему пришлось признать, что собеседница коснулась чего-то, чего он не собирался открывать даже самому себе.

— Вы опасная женщина, — сказал он наконец.

— Только для тех, кто предпочитает не задавать себе вопросов.

— И вы никогда не ошибаетесь?

— Постоянно. Но стараюсь замечать это прежде, чем ошибка становится судьбой.

Из соседней комнаты донёсся голос Карла, звавшего Бетховена к столу. Женщина чуть отступила от окна.

— Вам пора возвращаться, — сказала она.

— А вам?

— Мне тоже.

— Мы ещё встретимся?

Она посмотрела на него с выражением, в котором смешались веселье и осторожность.

— Вена не так велика, как кажется человеку, который привык спорить со всем городом.

— Это не ответ.

— Иногда отсутствие ответа честнее обещания.

Она направилась к двери, но у порога остановилась.

— Людвиг, не позволяйте им убедить вас, что ваша музыка обязана быть удобной. Но и не убеждайте себя, будто всякое сопротивление доказывает вашу правоту. Свобода труднее, чем бунт.

Она ушла, прежде чем он успел ответить.

Бетховен остался у окна. В соседней комнате звенела посуда, кто-то рассказывал анекдот, князь громко смеялся. Мир продолжал жить по своим правилам, словно ничего не произошло. Но слова незнакомки задели его сильнее, чем критика гостей.

Свобода труднее, чем бунт.

Он повторил эту фразу про себя, пытаясь понять, почему она не выходит из головы. Ему казалось, что он давно знает цену независимости. Он готов был отказаться от удобства, терпеть насмешки, работать до изнеможения и вступать в споры с теми, чьё расположение могло бы облегчить ему жизнь. Но разве этого достаточно? Не превращал ли он собственную гордость в ещё одну клетку, только потому, что прутья в ней были сделаны его руками?

В ту ночь он долго не ложился. Вернувшись домой, он зажёл свечу и снова сел за фортепиано. Несколько раз сыграл знакомую тему, затем изменил её, позволив мелодии уйти туда, куда прежде не решался её направить.

Он больше не думал о недовольных лицах в салоне. Не думал о том, сколько денег принесёт новое произведение и сколько людей сочтут его непонятным. Перед ним оставались только клавиши, ноты и вопрос, на который нельзя было ответить словами.

Как далеко может зайти человек, если перестанет просить у мира разрешения быть собой?

Музыка не дала ему ответа. Она лишь открыла перед ним дорогу, на которой каждый следующий шаг требовал большей смелости, чем предыдущий.

За окном медленно гасли огни Вены. В комнате пахло воском и бумагой. Бетховен склонился над рукописью и начал писать, не подозревая, что однажды ему придётся бороться не только с непониманием публики, но и с самой природой, которая, казалось, была создана для того, чтобы он мог слышать мир.

Пока же мир звучал.

И он собирался сказать ему всё, что ещё не было сказано.

Глава десятая. Предчувствие тишины

Вена встретила весну 1798 года непривычной переменчивостью. Утром город мог утопать в солнечном свете, а к полудню небо затягивали тяжёлые облака, и ветер гнал по улицам пыль, обрывки бумаги и запах сырой земли. Бетховен любил это время года за его беспокойство. В природе, как и в человеческой душе, он не доверял неподвижности: слишком долгое спокойствие казалось ему подозрительным, словно жизнь затаилась перед очередным испытанием.

К этому времени его имя уже было известно многим венским любителям музыки. Он выступал перед публикой, давал уроки, встречался с покровителями и всё чаще слышал, что его произведения отличаются силой, которой не хватает другим молодым композиторам. Однако признание не приносило ему полного удовлетворения. Он по-прежнему замечал, как охотно люди хвалят его мастерство и как осторожно отступают, когда музыка перестаёт соответствовать их ожиданиям. Ему хотелось не просто заслужить уважение, а доказать, что искусство способно открывать человеку такие глубины, о существовании которых тот прежде не подозревал.

Однажды утром Бетховен работал над новым произведением, когда в дверь постучал его друг Карл. На этот раз гость не стал шутить по поводу соседей и сразу заметил, что Людвиг выглядит утомлённым.

— Ты опять почти не спал? — спросил он.

— Спал.

— Сколько?

— Достаточно, чтобы не упасть с табурета.

— Это не ответ.

— Тогда зачем спрашиваешь?

Карл снял пальто и повесил его на спинку стула. Он давно понял, что прямые вопросы редко приводят к прямым ответам, если собеседник — Бетховен. Однако сегодня он пришёл не ради обычной перебранки.

— Вчера я встретил одного врача, — сказал он. — Он интересуется музыкой и хотел бы познакомиться с тобой. Говорит, что у тебя необыкновенный слух.

— Вот как? И что он собирается делать? Измерять его линейкой?

— Людвиг, я серьёзно.

— А я нет? Разве это запрещено?

Карл посмотрел на друга внимательнее. В последнее время Бетховен несколько раз жаловался, что не всегда различает тихие звуки. Он говорил об этом неохотно, объясняя отдельные случаи усталостью, шумом улицы или плохим качеством инструментов. Карл не хотел преувеличивать значение этих жалоб, но тревога уже поселилась в его мыслях.

— Ты замечал, что иногда просишь людей повторять сказанное? — спросил он.

Бетховен оторвался от рукописи.

— Люди часто говорят невнятно.

— Не все.

— Значит, мне не повезло с окружением.

— А если дело не в них?

В комнате стало тихо. Бетховен медленно положил перо на стол. Вопрос задел его именно потому, что он сам задавал его себе, но пока не позволял произносить вслух.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он.

— Ничего определённого. Я только подумал, что тебе не помешало бы посоветоваться со специалистом.

— Врач может помочь человеку, который заболел. Но что он может сделать для музыканта, если тот начинает сомневаться в собственных чувствах?

— Сначала выяснить, действительно ли есть причина для тревоги.

— А потом?

— Потом искать решение.

Бетховен отвернулся к окну. На улице торговец выкрикивал цену своего товара, где-то хлопнула дверь, по мостовой прогрохотал экипаж. Всё это было частью привычного городского шума, на который он прежде не обращал внимания. Теперь же ему неожиданно захотелось проверить, слышит ли он каждый звук так же ясно, как несколько лет назад.

— Я не болен, Карл, — произнёс он наконец.

— Я не говорил, что болен.

— Но ты пришёл ко мне именно с этой мыслью.

— Я пришёл, потому что ты мой друг.

Бетховен посмотрел на него, и на мгновение в его лице исчезла привычная суровость. Он знал, что Карл не желает ему зла, но дружеское участие иногда пугало его сильнее открытой враждебности. С врагом всё было просто: достаточно было возразить, доказать свою правоту или уйти. Друг же мог задать вопрос, от которого невозможно защититься одним гневом.

— Я подумаю, — сказал Людвиг.

Карл не стал настаивать. Он понимал, что большего сейчас не добьётся, и вскоре ушёл, оставив Бетховена наедине с рукописью и собственными подозрениями.

Композитор попытался вернуться к работе, но музыка словно отодвинулась от него. Он сыграл несколько тактов, затем остановился и прислушался. Ему показалось, что один из звуков прозвучал тише остальных, хотя он не мог понять, было ли это действительно или следствием внезапной тревоги. Он повторил фразу, изменил силу нажатия, приблизился к инструменту и снова сыграл её. Всё казалось обычным, но уверенность уже была нарушена.

Впервые он ощутил, что слух, который прежде представлялся ему таким же естественным свойством жизни, как дыхание, может оказаться не вечным даром, а уязвимостью.

Он не стал никому рассказывать о случившемся. На следующий день продолжил занятия, встретился с учениками и вечером отправился в гости, где играл для небольшой компании. Он смеялся, спорил и говорил о новых музыкальных замыслах с той же энергией, что и прежде. Если кто-то замечал его задумчивость, Бетховен находил для неё объяснение. Он не собирался позволять окружающим наблюдать за его страхом.

Но страх не исчезал. Иногда ему казалось, что он слышит собеседника недостаточно отчётливо; иногда он не мог разобрать тихую реплику, произнесённую за спиной. В такие минуты он сердился на себя и на весь мир, словно сама возможность сомнения была личным оскорблением.

Однажды вечером он снова встретил женщину, чьё имя по-прежнему оставалось для него неизвестным. Их знакомство не стало привычным: они виделись лишь изредка, и каждая встреча словно начиналась заново. Между ними ещё не было ни признаний, ни обещаний, но возникло редкое доверие, при котором молчание не требовало немедленного объяснения.

Они стояли в небольшом саду неподалёку от дома, где проходил музыкальный вечер. Ветви деревьев уже покрылись молодой листвой, а дорожки сохраняли запах недавнего дождя. Из открытых окон доносилась игра на фортепиано.

— Сегодня вы почти не разговаривали, — заметила женщина.

— Разве это обязательно?

— Нет. Но обычно вы спорите даже тогда, когда вас никто не провоцирует.

— Возможно, сегодня мне встретились люди, с которыми спорить бесполезно.

— Или мысли, от которых не удаётся отвлечься?

Бетховен посмотрел на неё с лёгким раздражением.

— Вы всегда стараетесь найти скрытый смысл там, где его может не быть?

— Только когда человек слишком старательно убеждает меня, что у него всё в порядке.

Он хотел отшутиться, но внезапно понял, что устал притворяться. Эта женщина не знала всех обстоятельств его жизни, не требовала от него светской любезности и не пыталась извлечь пользу из знакомства с известным музыкантом. Возможно, именно поэтому ему было труднее всего солгать ей.

— Скажите, — произнёс он после долгого молчания, — если бы вы потеряли то, без чего не представляете собственной жизни, что бы вы сделали?

Женщина не ответила сразу.

— Сначала я попыталась бы удержать это, — сказала она. — Потом, вероятно, стала бы искать способ жить дальше.

— Даже если вернуть утраченное невозможно?

— Особенно тогда. Но я не думаю, что человек обязан заранее соглашаться с потерей только потому, что она кажется неизбежной.

— А если борьба ничего не изменит?

— Тогда, по крайней мере, вы будете знать, что не отдали самое дорогое без сопротивления.

Бетховен опустил голову. Он не собирался рассказывать ей о своих подозрениях, однако её слова проникли туда, куда он не позволял заглядывать даже близким друзьям.

— Вы говорите так, словно уже проходили через подобное испытание.

— Каждый человек однажды обнаруживает, что жизнь не спрашивает его согласия. Но не каждый готов признаться себе, насколько сильно он боится.

— А вы боитесь?

— Конечно.

— Чего?

Она улыбнулась, хотя в её взгляде не было веселья.

— Того, что однажды мне придётся сделать выбор, при котором ни одно решение не окажется правильным для всех.

Бетховен внимательно посмотрел на неё. Ему захотелось спросить, какой выбор она имеет в виду, кто ждёт её дома и почему иногда в её голосе слышится печаль, словно за обычными словами скрывается другая, нерассказанная жизнь. Но он не стал задавать вопросов. Он знал, каково это — хранить тайну, которую невозможно открыть, не изменив собственной судьбы.

— Вы говорите о любви? — спросил он наконец.

Женщина отвела взгляд.

— А разве любовь всегда освобождает?

— Если она настоящая, должна.

— Вы уверены?

Он задумался. В его представлении любовь была силой, которая позволяла человеку преодолеть одиночество и обрести то, чего не могли дать ни слава, ни деньги, ни признание. Но реальная жизнь редко подчинялась таким ясным определениям. Люди любили и отступали, давали обещания и нарушали их, искали счастья и сами отказывались от него ради долга, страха или чужого благополучия.

— Нет, — признался он. — Не уверен. Но мне хотелось бы верить, что любовь способна сделать человека смелее.

— А если она делает его уязвимым?

— Тогда, возможно, именно в этом и заключается её сила.

Женщина долго смотрела на него. В свете фонаря её лицо казалось спокойным, но он заметил, как она сжала пальцы, словно удерживала слова, которые едва не сорвались с губ.

— Вы однажды можете пожалеть об этой уверенности, Людвиг.

— Я уже много о чём жалел. Это не причина отказываться от того, что ещё не произошло.

Она улыбнулась, но на этот раз улыбка получилась печальной.

— Вы не умеете отступать.

— Умею. Просто не люблю, когда мне указывают, куда именно следует отступить.

— Даже если вас просят об этом ради вас самого?

Он не ответил. Вдали музыка сменилась шумом голосов, и женщина посмотрела в сторону дома.

— Мне пора, — сказала она.

— Вы всегда уходите в тот момент, когда разговор становится интересным.

— Возможно, потому, что некоторые разговоры опасно продолжать.

— Для кого?

Она сделала несколько шагов, затем обернулась.

— Для тех, кто ещё надеется сохранить свою жизнь такой, какой она была прежде.

Бетховен хотел остановить её, но не нашёл слов, которые не прозвучали бы требованием. Он позволил ей уйти и остался один среди влажных дорожек и тихого шелеста листвы.

В ту ночь он долго вспоминал их разговор. Женщина словно почувствовала его страх, хотя он не произнёс ни слова о слухе. Её собственная тайна оставалась закрытой, но впервые Бетховен подумал, что между ними может возникнуть нечто большее, чем случайное знакомство. Он ещё не знал, станет ли она его другом, возлюбленной или человеком, который однажды исчезнет из его жизни, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.

Он не знал и другого: впереди его ожидали годы, в которых музыка будет звучать для него всё более сложным испытанием. Пока же он мог работать, выступать и создавать произведения, в которых человеческая воля словно спорила с самой судьбой.

Однако тревога уже поселилась в его сознании. Он старался не давать ей имени, потому что имя превращало неопределённый страх в реальность. Но каждый раз, когда он оставался один, ему вспоминалось простое обстоятельство: его призвание было связано со слухом так тесно, что даже мысль о его утрате казалась угрозой всему, ради чего он жил.

Он ещё не знал, что со временем ему придётся искать музыку не только в звуках, но и внутри самого себя. Пока он продолжал сопротивляться первым сомнениям, надеясь, что тревога окажется случайностью, а будущее сохранит за ним привычный мир.

Вена по-прежнему шумела за окнами, оркестры играли в концертных залах, а новые мелодии рождались под его пальцами. Но впервые за долгое время Бетховен услышал в привычном звучании мира не одну лишь радость творчества. Он услышал предупреждение, которому ещё не умел дать объяснение.

КНИГА ВТОРАЯ. МИР, КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАВАЛ ЗВУЧАТЬ

Глава одиннадцатая. Письмо, которого никто не должен был прочитать

Утро началось с дождя. Вода стекала по стёклам венского дома, собиралась в узких желобах крыш и с шумом падала на каменную мостовую. Бетховен сидел за письменным столом, пытаясь закончить письмо одному из своих знакомых, но всякий раз возвращался к началу. Ему казалось, что слова не передают того, что он хочет сказать, и чем старательнее он подбирал выражения, тем сильнее раздражался.

Наконец он отложил перо и встал. На столе лежали ноты, несколько неоплаченных счетов и листок, на котором он накануне записал музыкальную мысль, возникшую среди ночи. Рядом находился конверт с письмом, которое он получил несколько дней назад. Отправитель не оставил подробных объяснений, ограничившись короткой просьбой встретиться и поговорить без свидетелей. Подпись была знакомой, но содержание письма показалось Бетховену настолько необычным, что он предпочёл не отвечать сразу.

Он перечитал послание ещё раз. Потом сложил лист и убрал его в ящик стола.

В дверь постучали.

— Входите, — сказал он, не оборачиваясь.

На пороге появился Карл, промокший от дождя и явно недовольный погодой.

— Вена решила проверить, насколько хорошо ты умеешь плавать, — заметил он, снимая пальто.

— Если она продолжит в том же духе, я научусь плавать раньше, чем научусь терпеть её жителей.

— Тогда у тебя будет сразу два повода для гордости.

Карл подошёл к столу и увидел раскрытый ящик, который Бетховен не успел задвинуть до конца.

— Ты кого-то ждёшь?

— Нет.

— Тогда почему ты каждые пять минут смотришь на дверь?

— Потому что ты вошёл без предупреждения, а я не люблю, когда меня отвлекают.

— Ты любишь, когда тебя отвлекают, если сам выбираешь время и человека.

— Карл, если ты пришёл спорить, я могу предложить тебе стул. Он прекрасно справляется с этой задачей и не задаёт лишних вопросов.

Карл усмехнулся, но затем заметил конверт.

— Письмо?

— Ты умеешь читать.

— А ты умеешь отвечать?

Бетховен резко закрыл ящик.

— Не всякое письмо требует ответа.

— Но некоторые письма меняют жизнь.

— Обычно так говорят люди, которые хотят оправдать собственную нерешительность.

Карл не стал продолжать. Он знал, что за раздражением друга скрывается что-то более серьёзное, чем обычное нежелание делиться личными делами. Однако прежде, чем он успел спросить ещё что-нибудь, в дверь снова постучали.

На этот раз Бетховен сам подошёл к двери.

На пороге стоял посыльный в тёмном плаще. Он держал небольшой пакет, перевязанный тонкой лентой.

— Господину Бетховену? — уточнил он.

— Да.

— Прошу принять. Мне велели передать лично в руки.

Бетховен взял пакет, но посыльный не спешил уходить.

— Кто передал? — спросил композитор.

— Женщина. Она просила не называть её имени.

— Где она?

— Ждёт у экипажа, на другой стороне улицы.

Бетховен посмотрел на Карла. Тот молча поднял брови, словно хотел сказать, что теперь у друга появился ещё один повод не отвечать на вопросы.

— Подожди здесь, — приказал Людвиг посыльному и вышел на лестницу.

Женщина действительно ждала у экипажа. Лицо её было скрыто вуалью, а руки, затянутые в перчатки, неподвижно лежали на коленях. Когда Бетховен приблизился, она приподняла вуаль.

Это была его незнакомка.

— Вы могли просто прийти, — сказал он.

— Я не всегда могу позволить себе поступать так, как мне хочется.

— Вы говорите это всякий раз, когда не хотите объяснять причину.

— А вы всякий раз сердитесь, когда не получаете объяснения.

— Возможно, потому, что вы слишком часто заставляете меня гадать.

Она посмотрела на него с тревогой.

— Я пришла не спорить. Мне нужно, чтобы вы кое-что сохранили.

— Что именно?

Она указала на пакет в его руке.

— Прочитайте, когда останетесь один. И никому не показывайте.

— Почему?

— Потому что это может причинить вред человеку, который не заслуживает наказания за чужую слабость.

Бетховен нахмурился.

— Вы просите меня стать хранителем тайны, даже не объяснив, в чём она заключается.

— Я прошу вас довериться мне хотя бы один раз.

— Доверие не возникает по приказу.

— Знаю. Поэтому и не приказываю.

Она собиралась опустить вуаль, но он удержал её взгляд.

— Когда я увижу вас снова?

— Не знаю.

— Вы всегда так отвечаете.

— Потому что не всегда знаю, что произойдёт завтра.

В её голосе прозвучала такая усталость, что Бетховен на мгновение забыл о собственном раздражении. Он хотел спросить, кто угрожает ей, почему она не может говорить открыто и какое отношение ко всему этому имеет письмо. Но экипаж уже тронулся, и женщина исчезла за дождевой пеленой улицы.

Вернувшись в комнату, Бетховен обнаружил, что Карл не ушёл. Друг сидел у окна и делал вид, будто с большим интересом изучает прохожих.

— Я ничего не видел, — заявил он.

— Тогда тебе не о чем рассказывать.

— А если бы я что-нибудь увидел, ты бы всё равно сказал то же самое.

— Вот почему мы так давно дружим.

Бетховен положил пакет на стол. Он не стал открывать его при Карле и попросил друга уйти. На этот раз тот не возражал.

Оставшись один, Людвиг развязал ленту. Внутри лежали два листа бумаги и небольшой медальон, потемневший от времени. На первом листе было написано несколько строк, на втором — длинное письмо, адресованное женщине, имя которой ему ничего не говорило.

Он начал читать.

Автор письма писал о долге, о невозможности открыто признаться в любви, о семье, чьё благополучие зависело от соблюдения приличий. Между строк чувствовались обида и отчаяние. Человек, написавший эти слова, словно пытался убедить себя, что поступает правильно, хотя каждое предложение выдавало его нежелание смириться с собственным решением.

Бетховен перечитал письмо дважды. Он не знал ни отправителя, ни адресата, но узнавал состояние души, в котором желание сталкивается с обязанностью, а надежда постепенно уступает место страху.

На втором листе было всего несколько строк, написанных рукой незнакомки.

«Я не прошу вас судить о том, что произошло. Вы не знаете всей истории и, возможно, никогда не узнаете её до конца. Но однажды вам может встретиться человек, который попросит вас сохранить эту тайну. Если это случится, вспомните, что не всякая правда принадлежит тому, кто сумел её узнать».

Бетховен опустил лист на стол. Он почувствовал раздражение, смешанное с любопытством. Женщина не объяснила, почему доверила ему чужое письмо, и тем самым поставила его в положение, которое он терпеть не мог: ему предстояло отвечать за поступок, смысл которого оставался неясным.

Он снова взял первый лист и внимательно изучил почерк. Некоторые слова были подчеркнуты, несколько строк зачёркнуты и написаны заново. Письмо явно не предназначалось для посторонних глаз. Тот, кто его писал, колебался, пытался подобрать правильные слова и в конце концов всё же произнёс на бумаге то, чего не решался сказать вслух.

Бетховен вдруг вспомнил собственные письма, которые он иногда начинал с уверенностью, а затем прятал в ящик, потому что не мог решить, стоит ли отправлять их адресату. Он знал, как легко бумага превращается в убежище для чувств, которым не нашлось места в жизни. На листе можно было быть смелее, чем при встрече, но даже написанная правда не всегда освобождала человека.

Он сложил письмо и убрал его в конверт. Затем запер ящик стола.

Весь день он пытался работать, однако мысли возвращались к незнакомке. Её просьба сохранить тайну была слишком серьёзной, чтобы считать её обычной причудой. Но почему она выбрала именно его? Неужели полагала, что человек, способный спорить с князьями и пренебрегать мнением публики, сумеет хранить чужую тайну? Или же ей было известно нечто о нём самом, чего он ещё не успел понять?

Вечером Бетховен отправился на прогулку. Дождь прекратился, и воздух стал прозрачным и холодным. Он шёл без определённой цели, пока не оказался возле небольшого кафе, где несколько раз встречался с женщиной. Сегодня её там не было. Он задержался у входа, прислушался к голосам посетителей и внезапно осознал, что снова пытается различить отдельные звуки в общем шуме.

Эта мысль испортила ему настроение. Он резко повернулся и пошёл дальше, сердясь на собственную тревогу. Ему не хотелось, чтобы страх определял его поступки. Он был композитором, а не пациентом, ожидающим приговора; его будущее ещё не было решено, и он не собирался жить так, будто самое страшное уже произошло.

Однако в глубине души он понимал, что не может бесконечно отмахиваться от сомнений.

На следующий день он получил ещё одно послание. На этот раз конверт был без подписи, а внутри лежала короткая записка: «Не пытайтесь искать меня. Если вы сохраните письмо, вы поможете мне больше, чем можете представить».

Бетховен перечитал её и сжал бумагу в руке.

— Чего вы от меня хотите? — произнёс он вслух, словно женщина могла услышать его через стены и расстояния. — Чтобы я молчал, не задавал вопросов и ждал, пока вы сами решите, когда мне позволено знать правду?

Он хотел разорвать записку, но остановился. В конце концов, он мог отказаться от этой истории. Мог вернуть письмо, уничтожить его или попросить объяснений у первого человека, который знал незнакомку. Но он не сделал ничего из этого. Он положил записку рядом с первым письмом и запер их вместе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.